

**ЕВГЕНИЙ
ПОПОВ**

**ВЕСЕЛИЕ
РУСИ**





**ЕВГЕНИЙ
ПОПОВ**

**ВЕСЕЛИЕ
РУСИ**

ARDIS

Copyright ©1981 by Ardis

ISBN 0-88233-675-4 (cloth)

ISBN 0-88233-676-2 (paperback)

Published by Ardis

2901 Heatherway

Ann Arbor, Michigan

United States of America

ВЕСЕЛИЕ РУСИ

РАЗБОР

Жила—была тихая девочка около станции Уяр Восточно-Сибирской железной дороги. Папаша у ней оказался порядочный сукин сын и однажды сбежал в неизвестном направлении, а мама все болела, болела, побаливала. Даже ездила раз по путевке на курорт „Озеро Шира”. Болела, болела да и умерла — тихо и незаметно, скромно и немучительно.

А девочка похоронила маму и поставила крест с фотографией. Мама глядела с фотографии, как живая. Девочка погоревала, распростилась с оставшейся жить неродной теткой и уехала в город.

А там она идет по улице и вдруг видит на столбе криво приклеенную бумажку:

„Пушу на квартиру одну девочку. В Покровке.”

Она и направилась по адресу, оказавшись у ловчайшей старухи горбленной конструкции. Старуха отобрала у ней деньги за три месяца вперед, не велела никого приводить, поздно являться и „устраивать бардаки”. Сама же в первый вечер напилась „Солнцедару”, пошла на огород и стала зубатиться с соседкой. Соседка пустила ей в голову подсолнух. Старуха взвыла и повернулась, задрав юбки. Такое оскорбление вряд ли кто выдержит — соседка ринулась в бой, пришел участковый, составил протокол.

А девочка сначала хотела в финансово-кредитный техникум, но выяснилось, что прием туда в этом году уже закончен. Тогда она устроилась на почту и стала разносить письма, газеты, денежные переводы.

Подруг у ней не было. Она раз пошла на танцы в Политехнический институт, и там ее пригласил один длинный, лохматый. Похожий на „лесняра”, которые сладко и звонко поют под электроинструменты с пластинки того же названия. Звали его Вовик. Он проводил ее до ворот и стоял, и курил, и полез под лифчик, и получил отпор, и назавтра опять пришел, а старуха ей и говорит:

— Ты с этим козлом не шейся. Я по его морде вижу, что тебе от него будет раззор.

— Да я и не думаю ни о чем таком, — сказала девочка.

— А ты думай, не думай, а будешь с ним шиться, так и будет тебе от него раззор, — настаивала старуха.

Но девочка ей не верила. Они ходили на танцы, в кино, дважды

он приводил ее к себе, где сильно приставал. Но в первый раз помещал его папа. Щелкнул дверным замком и бодро крикнул в глубину громадной квартиры:

— Эгей! Люди! Кормилец с заседания пришел, голодный, как сорок тысяч волков!

А во второй — девочка сама в последнюю секунду вырвалась и убежала. Вовик остался лежать злой и крыл ее вдогонку последними словами. Но на следующий день они снова встретились.

Ну и вскоре она как-то очень даже незаметно для себя допустила лишнее, а через месяц ее и вырвало во дворе, в присутствии старухи.

— Колбасы я налопалась ливерной, — сказала девочка.

А старуха глядела пристально.

— Как бы тебя, однако, на солененькое да на известочку не потянуло от такой колбасы, — сказала старуха.

Девочка-то и не поняла — к чему это она, а потом поняла.

Она тогда пошла к Вовику, и дверь ей открыла Вовикова мама.

— Здравствуйте, — сказала девочка. — Мне Володю можно?

— Нету Володи, — ответила мама, неприязненно глядя на девочку.

— А где его искать? — спросила девочка.

— А нечего его искать, — ответила мама. — Ходят, ходят — надоели! Надо будет — он сам тебя найдет. Нечего его от занятий отвлекать. У него сессия на носу!

И захлопнула дверь. А девочка отошла к стенке, ковырнула ногтем штукатурку и стала ждать. Но Вовик не пришел. В подъезд заходили другие люди: катили коляски, несли свертки, сумки, пакеты. Здоровались, смеялись. А Вовика все не было. Девочка пошла домой.

А Вовика все не было. Девочка раз видела его через стекло. Он ехал на задней площадке трамвая и что-то объяснял, жестикулируя, своим друзьям. Он рассеянно скользнул взглядом и, наверное, на самом деле не заметили девочку.

А она шла в номерную баню. Она купил за 35 копеек билет и зашла в душевую кабину. Она вынула карманное зеркальце и стала смотреть свой живот. Живот точно стал выпуклый. Девочка повернула кран. Звонко лилась вода из-под потолка. Девочка заплакала.

А как-то она встретила Вовинога отца. Высокий, еще выше, чем сам Вовик, плечистый, стриженный под полубокс папа вышел из машины, размахивая портфелем.

— Привет, кнопка! — обрадовался он. — Что не заходишь? Или с Вовкой поссорилась, с оболтусом?

— Да нет, — сказала девочка.

— А что такая квелая? Круги под глазами?

— Пузо у меня, — сказала девочка.

— Чего? — поперхнулся отец. — Ты что болтаешь такое?

И девочка взяла да ему все и рассказала. И вечером того же дня папа имел с сыном продолжительную беседу.

— Ну и что ты, сын, собираешься теперь предпринять? — наконец спросил он.

— Учиться, учиться и еще раз учиться, — пожал плечами Вовик.

— А девка что будет делать, сволочь?

— А я ей десятку дам, пойдет да и выскребет, — ответил Вовик, и тут же получил прямой удар в челюсть.

Ворвалась подслушивавшая мать.

— Не смей бить ребенка, фашист! — кричала она. — Ему рано жениться. И эта особа вполне совершеннолетняя. Она знала, на что идет. Ты ведь ей не обещаешь жениться, Вовик?

— Конечно, нет, — угрюмо ответил Вовик, подсасывая сочащуюся кровь.

— И я не позволю, чтобы мой сын женился на первой попавшейся деревенщине...

— Позволишь, — недобро бормотал отец. — Позволишь! Вовик тебя попросит и ты позволишь. Ведь правда, Вовик? Попросишь?

— Да на кой она мне на самом деле, папа? Мне еще учиться три года. Ну, на кой она мне? А потом, кому известно, что ребенок от меня? Может, и не от меня.

— Подлец! — Папа смотрел на сына с отвращением. — Подлец! Неужели ради таких воевал я на фронте, и строил, и мерз, и голодал?

— Ну, пошел, — сказала жена.

— Не пошел! — взорвался строитель. — А сделал ребенка — пускай женится. И — никаких. Все! Позорить я себя не позволю. Меня полгорода знает.

Вовик неожиданно развеселился.

— А! Могу и жениться. Мне — один черт! Она правда не шибко красивая. Были у меня и покачественней.

Отец тоже улыбнулся.

— А это ничего, — сказал он. — Знаешь восточную пословицу? Красивая жена — чужая жена.

— А надоест, — так и брошу, — размышлял Вовик.

— Я тебе брошу! — отец погрозил ему пальцем.

Мать Вовика рыдала, и вскоре молодые уже стояли перед столом служащей отдела ЗАГС Центрального района.

Брачующая сказала:

— Рука об руку, деля удачи и неудачи, пройдете вы по жизни. Так пусть будет крепким ваш союз! Пусть будет крепкой эта новая ячейка нашего общества — ваша молодая семья! Ура, товарищи!

И товарищи сказали „ура”, и сели в машину, всю изукрашенную лентами. Прохожие смотрели на машину. К ветровому стеклу черной „Волги” чьи-то заботливые руки привязали громадную цел-

лулоидную куклу.

Дальше была свадьба. На столах всего было видимо-невидимо. Имелась даже красная икра. Со стороны невесты родственников не имелось. Зато со стороны жениха многие говорили речи и желали молодым различных благ. Невеста сидела, потупив очи.

— Пускай и молодая что-нибудь скажет, — крикнул кто-то.

Невеста встала, обвела стол и присутствующих счастливым взором и сказала, обращаясь к Вовиковым родителям:

— Дорогие мама и папа! Позвольте мне вас теперь так называть! Немалая ваша заслуга в том, что я вошла в ваш дом и стала вашей невесткой. Верьте, что я — очень работающая, а также, что я всегда буду это ценить и никогда это не забуду.

И, не выдержав, заплакала. Жених улыбался снисходительно, но многие тоже плакали. Плакала мама, вытирая глаза кружевным платочком. Папа плакал, сурово кусая хорошо подстриженный ус. Многие плакали! И плакали, разумеется, от радости. А отчего же еще?

СВОБОДНАЯ ЛЮБОВЬ

Одна доченька почтенных родителей запланировала несомненно связать себя узами брака. С этой целью она провела следующий эксперимент: она поддалась одному холостяку и теперь дожидалась, что из этого выйдет.

Однако из этого пока выходила одна лишь неопределенность. Холостяк твердо ничего не только не обещал, а даже и напротив — часто ей рассказывал про печальные судьбы знаменитых людей, загубленные в результате семейной жизни.

Нельзя сказать, чтобы эти фразы вызывали слишком уж большую тревогу у девушки. Она была молода, хороша собой и хорошо одета, на холостяка смотрела с любопытством и знала, что в любом случае не пропадет.

Они встречи всегда назначали по телефону. Бывало, не звонит холостяк, не звонит, а потом в один прекрасный день: „Здравствуй, Томик! Ты что сегодня делаешь?”

Ну, Тамара к нему и приходит.

А тут что-то не было его, не было, и на звонки не отвечают. Девушка Тамара тогда и решилась. С утра намазала губки помадкой, вставила в уши золотые серьги и отправилась.

Стучится, значит, в дверь, и никакого в ответ нет движения. Она еще стучится, зная расшатанные нервы холостяка, и что рано или поздно он откроет.

— Кто там? — услышала, наконец, хриплый и любимый голос.

— Я, — пискнула Тамара. — Эдик, это — я.

Эдик за дверью некоторое время помолчал, а потом дверь-то квартирки и отворил со скрипом.

Тамара упала к нему в объятия и правильно сделала, потому что иначе он бы и сам мог упасть. Холостяк Эдик оказался в 9 часов утра совершенно пьян.

Тамару это не сильно удивило. Она знала, что он временами попивает. И хоть сама она ничего, кроме шампанского, не употребляла, как-то ей это даже и нравилось. Суровый мужчина со стаканом в руке!

— Это ты? — прошептал неувавший Эдик. — А я не знал, что это — ты.

— Почему не знал? — глупо спросила Тамара, нежно поцеловав его и тем самым истратив небольшой слой помады.

— Потому что я б тогда тебе не открыл, — простодушно ответил холостяк и почесал волосатую грудь под махровым халатом.

— Как-то странно ты в последнее время шутишь, Эдюшка! — Тамара улыбнулась и криво погрозила ему пальчиком.

— Да я тебе точно говорю, — убеждал ее Эдик. — Не открыл бы! Я же дома-то не один.

— Как не один, — приостановилась Тамара.

— Ну... как? — смутился Эдик. — Не понимаешь, что ли?

— Не-ет, — ловко протянула Тамара, с ужасом все мгновенно сообразив.

— Ну... эта... гостя у меня, — шепотом сообщил Эдик и, покачнувшись, оглянулся.

— Ты ее любишь? — спросила Тамара после некоторой паузы.

— Ты чё! Ты чё! — лихорадочно зашептал Эдик. — Старая моя любовь! Она уж и замужем уже! Вчера пришла и заставила, чтоб я ее оставил.

— Экий же ты подлец! — рассмеялась Тамара, и из ее накрашенного глаза капнула слезинка.

Эдик опешил. Но тут же нашелся.

— Ты пойди, тушь пока смой, — сообразил он. — А я тем временем постараюсь ее выставить.

Тамара пошла в ванную и там, любуясь в зеркало своим красивым отражением, слышала льстивый голос жениха:

— Ну, вставай, а! Зяя, вставай!

— Зяя! — трясаясь от злобы, прошипела Тамара и плюнула в случившийся под самым носом стаканчик для бритья.

И тут дверь ванной распахнулась, и в ванную влетела тоже довольная красивая дама, но уже средних лет. Она покачнулась, подставила лицо навстречу струям теплого душа, а потом разлепила глаза и увидела Тamarочку.

— Салют! — сказала она.

— Здравствуйте, — прошептала Тamarочка.

Дама ловко и быстро вычистила зубы эдиковской щеткой. Тоже вся целиком нарядилась, после чего сказала:

— Ты меня, девочка, не бойся.

— Я вас и не боюсь, — холодно отвечала Тамара.

— И губки на меня не дуй. Я тут не при чем.

— Да уж, конечно, — насмешливо протянула Тамара.

— Конечно, — убежденно ответила дама. — Мне, во-первых, еще с мужем сегодня объясняться. Этот как вчера разнюнился да ручки стал целовать, вот я его и пожалела. Все-таки и у нас с ним что-то было раньше... хорошее...

Тут дама пустила слезу. Тamarочка обняла ее и сказала:

— А вы знаете, я ведь на вас нисколько не сержусь. И я все по-

нимаю.

— Потаскун старый! Каков! А! — крикнула дама, но тут же успокоилась и сказала, что ее зовут Эльвира.

Сдружившись, Эльвира и Тамара вышли из ванной.

— А ты красивая, — одобрительно сказала Эльвира, рассмотрев Тамару при прямом свете дня.

Тамара покраснела и сказала:

— А где этот наш, как вы его называли... потаскун?

— Что ты мне все выкаешь? Называй меня на „ты“, — разрешила Эльвира.

Потаскун Эдик лежал в растерзанной постели и с ужасом глядел на приближающихся.

— Ты что же это, подлец, девчонке голову морочишь?! Имей в виду — я ее в обиду не дам! Я над ней беру шефство, — грозно сказала Эльвира.

— Я тут при чем? — бормотал Эдик. — Она сама сказала, что стоит за свободную любовь.

— Сам, наверняка, ее подучил и голову заморочил. Я твои штучки знаю! — крикнула Эльвира. И предложила: — Тамарка, а давай-ка мы его побьем, этого нашего противного потаскуна Эдика.

И расхохотавшись, новые подруги бросились, шутя, на постель и стали Эдика шутя щекотать и шутя колотить его маленькими женскими кулаками.

— Не бейте меня. Я тут совершенно не при чем, — бормотал пьяненький Эдик.

Безобразие! Ужас! Невероятно!..

ПАЛИСАДНИЧЕК

Трагична история отдельных молодых людей. У них иногда из-за малого пустяка рушится вся жизнь, и они оказываются за бортом, лишь изредка выплывая на поверхность глотнуть воздуха.

Вот у нас в городе есть один знаменитый человек, переменивший восемьдесят одну работу. И который прекрасно известен всему городу. Да и сам он город неплохо изучил. 81 работа! Изучишь!

А ведь будучи мальчиком Виталенькой он, с целью экономии денег для семьи, ходил в вечернюю школу №1 и там очень прилежно занимался, определяя по карте, где какой расположен остров, а также почему обезьяна встала на задние лапы и пошла.

Любовь! Любовь губит молодых людей. Любовь. Вот я сам пропал из-за любви. Да уж и ладно, не обо мне речь...

Он влюбился. И это естественно — с чего же еще начинать молодому человеку свою сознательную жизнь?

Старшая сестра у него была, которая изучала в химико-технологическом институте химию и технологию. А у той была подруга, которая тоже изучала в химико-технологическом институте химию и технологию.

Вот ведь как интересно получается! Он учился, сестра училась и его любовь — подруга сестры — училась. Они все трое учились. Да и мало того, что они трое! Гляньте вокруг — ведь буквально все учатся. Я тоже учился. Я закончил Московский геологоразведочный институт имени Серго Орджоникидзе. Учатся все. Что из того, что один — на дипломата высшей категории, а другой — на рубщика мяса. Все мы делаем сообща одно общее дело. Все мы строим и несомненно построим.

Но вернемся к нашим влюбленным.

Вычерчивая за школьной партой вечерней школы чертежные фигуры, милый мальчик Виталенька вздыхал и грезил:

— Ах, если бы, если бы, если бы... — думал он.

Но чертил, надо заметить, очень прилежно и толково, как будто бы и вовсе ничего не думал.

И, вздыхая, он выходил и шел к себе домой, на улицу Достоевского, где около их семейного дома был палисадничек, наполненный черемухой.

А тут так всегда случайно получалось, что и студентки в это же

время заканчивали свои труды по освоению высших знаний. И стояли близ палисадничка, взявшись за руки и глядя друг дружке в глаза.

— Зачем это я буду выходить замуж! — говорила Виталенькина сестра, у которой физиономия была похожа на собачью (из-за кудряшек).

— Останемся друзьями, верно? — говорила Виталенькина любовь. — Махнем куда-нибудь на Землю Франца-Иосифа, где синее море и алеет восток. Там мы с тобой будем делать что-либо полезное и нужное для Родины.

И от избытка чувств подружки целовались.

И не смущало их, что на улице Достоевского блатной Скороход, регулярно ревнуя, часто выбрасывал свою бабу из окошка, отчего женщина кричала, раздирая руками одежду.

И не тревожило их нарисованное на стенке барака мерзкое изображение с надписью „*Это голова профессора Доуля*”.

И не мешало им еще многое, что я опишу в других рассказах.

А вот Виталенька — он им жить мешал.

Когда его фигура, имеющая под мышкой картонную папочку с тесемками, появлялась из-за угла, подружки каменели и Виталенькина любовь цедила сквозь зубы:

— Тащится!

А ведь он был очень робкий. Он подходил и говорил:

— Стойте?

— Стоим, — отвечали подружки, начиная шептаться и хихикать. И бросали на влюбленного косые взгляды.

— Ну, я пошел, — говорил он.

И уходил, проводя бессонные ночи.

Он утром спрашивал сестру:

— Как ты думаешь, меня мог бы кто-нибудь полюбить?

— Мог бы, мог бы, — отвечала сестра, мажа свою собачью физиономию ланолиновым кремом и распутывая бигуди. — Мог бы, если б ты смог бы.

— Ну, я пошел, — вздыхая, говорил Виталенька и отправлялся таскать телеграммы, учась по вечерам в вечерней школе.

— А вот твоя подруга. Она... с кем... живет, — спрашивал он иногда, сглатывая слюну и замирая сердцем.

— Ты учишь, учишь, болван, — говорила сестра. — Шибко много хочешь знать.

А он в ответ все вздыхал и вздыхал. Он тогда все вздыхал. Это сейчас он стал — не Виталенька, а — волк тамбовский. На ходу подметки режет, причем даже и не нарушая уголовный кодекс.

И вот как-то он шел из школы, неся полный дневник пятерок и четверок, вздыхая и мечтательно глядя на месяц, который был уже рогатый.

А подруги заметили его издали и, чтобы избавиться от человека, нарушающего их думу и мечту, ругаясь полезли в палисадничек, где черемуха уж вся расцвела, уж и пахла пьяняще — белая такая черемуха, кипень черемухи в палисадничке.

Молодой человек облокотился о штакетник.

— Ничего. Скоро последние испытания будут позади. Я поступлю в институт, а она еще пожалеет.

И при этом глядел на месяц. А затем крякнул и стал справлять малую естественную нужду, которую справлять по причине отсутствия на улице Достоевского канализации следовало бы в дощатом помещении. А оно было далеко.

Шуршала струя. Красавицы долго крепились, а потом выскочили из кустов с громкой и даже нецензурной бранью. \

А молодой человек остолбенел. Из его горла вырвались рыдания. Он зашатался и с расстегнутой ширинкой пошел в дом, закрыв лицо белыми руками.

После чего вся жизнь его испортилась. В армии он попал в дисциплинарный батальон, но вышел по амнистии к Сорокалетию Великой Октябрьской Социалистической революции. После чего сменил 81 работу, облысел и запустил бороду до груди.

И это очень яркий и поучительный пример того, как трагические пустяки любви губят биографии. Кто знает, что могло бы выйти из этого человека, не случись с ним в ранней юности, когда психика молодежи еще не окрепла, такая жуткая нелепость? Вполне возможно, что он мог бы стать кем-либо очень достойным.

А взять меня. Знаете, как я пострадал от любви? Не знаете? Так знайте. Я влюбился в одну длинную черноволосую стерву, и она мной помыкала, как будто я — вьючное животное. А ласки мне дарила, лишь сильно напившись водки. С этой целью я с ней приучился пить водку. Потом стерва меня бросила, а водку я пить не оставил.

Тут она меня недавно нашла. Нашла. Она приходит ко мне. Она приносит мне колбасу и водку. И она целует меня, и она говорит, что жить без меня не может. А только я ей не верю. Я погорел и сгорел. А она замужем за кандидатом наук.

И те две — они тоже неплохо устроились. Виталикова сестра с мужем недавно купили машину „Фиат” и ездили на ней по Средней Азии. А Виталенькина любовь переехала в Москву и что там делает — это уж мне неизвестно. Я ведь не Бог, чтобы все знать.

КАК СЪЕЛИ ПЕТУХА

Николай Ефимыч долгое время проживал с женой у моей тети Иры в деревянном домике на улице Засухина. В качестве постояльца, платящего за жилплощадь наличными деньгами раз в месяц.

Грустна, тревожна, зыбка и неясна жизнь людей, не имеющих квадратных метров собственной или какой другой жилплощади. Их гложут неясные стремления и подозрения, им хочется переезжать с места на место, меняя род занятий и деятельности. Им хочется счастья, а они идут в кино, и им опять хочется счастья.

Вот, например, Николай Ефимыч. Замечательный мастер своего дела. Труженик по металлу. Что-то там всю жизнь клепал, варил и паял. Точил.

Только он ведь не всю жизнь точил. Он сначала попал в Сибирь за незначительные послевоенные преступления, а в 1953 году его амнистировали.

В те годы по улицам нашего города амнистированных бродили тыщи. Бродили, ели, спали на чердаках и в подвалах. И через этих бывших ЗК жизнь горожан во многом усложнилась. Редко мирный смельчак выходил зимой поздним вечером из дома, потому что все знали — однажды одна дама вышла, на пять минут в 9 часов вечера, а навстречу ей люди в телогрейках, которые сняли с нее всю верхнюю одежду и часы. А было это в Таракановке около мясокомбината. Она тогда кинулась к Суриковскому мосту, увидев, что там светло от фонарей и стоят какие-то еще люди. Она к ним — Граждане! — кричит. — Меня раздели! Вон! Вон они побежали. Я их запомнила.

— Ты их запомнила? — спрашивают.

— Видела! Видела! Они с меня сняли зимнее пальто и каракулевую шапку.

— И, как увидишь, то узнаешь?

— Узнаю, узнаю! Как не узнать, — отвечала женищина, не чуя беды.

И тут ее мазнули перчаткой по глазам, и лицо ее стало цвета крови, ибо в перчатку были вделаны бритвенные лезвия. Ну, окровавленная женщина ощупью выбралась на проспект Мира, упала, и там ее кое-кто, якобы, и видел. Женщина ослепла, а банда скрылась. Банда „Черная кошка”. Сибирь — 53.

Или еще рассказывали — поймали детей, подвесили в лесу, изрезали ножами и собрали кровь в колбы.

— Зачем?

— А затем, чтобы сдавать на станцию ее переливания, получая за это громадные деньги.

— Что за чушь!

— Вот тебе и „чушь”. Говорят тебе, что поймали детей, подвесили в лесу, изрезали ножами и собирали кровь в колбы.

Но Николай Ефимыч такими делами не занимался, не интересовался и не участвовал. Боже мой! Да он наоборот, он если бы услышал или увидел что-либо подобное, то сразу бы поднял шум и самолично вызвал милицию.

Он вообще ничем не интересовался. По мнению Николай Ефимыча, он и в лагеря попал совершенно случайно, так как был невинен. Не знаю. Не знаю. Вина — это такое скользкое и неясное моему уму понятие, что я по вопросу виновности или невинности Николая Ефимовича никак высказаться не могу, так как не понимаю и не располагаю. Важно то, что после амнистии он стал очень спокойным человеком, хотел счастья и поступил на производство, желая приложить к нему свои золотые руки.

И имелась у него жена, торговавшая в промтоварной палатке на колхозном рынке. Елена Демьяновна. По прозвищу „Демьян”.

Сама она была глухая, то есть слышала лишь немного и произносимое громким голосом прямо ей в ухо.

Глухоту свою она иногда скрывала, делая вид, что слышит все — и громким голосом произносимое, и тихим тоже.

Это сокрытие как-то веселило Николая Ефимыча. Он ее в шутку ругал матом. В шутку. А поскольку она ничего не слышала, то все шло, как по маслу: Николай Ефимович ее ругает, а Демьян не слышит, беседует о том, о сем, и он беседует, а как Демьян отвернется, так он ее матом.

А чтобы описать внешний вид супругов, ни мастерства, ни вдохновения не нужно. И большого искусства тоже не требуется. Я вижу их, даже по прошествии стольких лет, чрезвычайно четко.

Он — среднего роста. Мужик да и мужик. И одежда неприметная, серая. В чем все ходили, в том и Николай Ефимыч. Как все ходили — кирзовые сапоги, телогрейка, а брюки чтоб заправлены в сапоги, так и Николай Ефимыч. А когда стали с 1955 года продавать брюки-дудочки, и многие их купили, то и Николай Ефимович приобрел.

Обыкновенная одежда — неприметная, серая. Обыкновенный человек — серый, неприметный.

И про Демьяна тоже можно сказать очень просто, что она, поскольку была глухая, то особенно-то и не рыпалась. Носила все самое лучшее из того, что продавалось в ее промтоварной палатке, и не верила в существование слухового аппарата. Считала аппарат обманом, выдумкой газет и журналов.

Они моей тете Ире приносили выгоду. Во-первых, как жильцы, платящие за жилплощадь, а во-вторых, как люди, имеющие отношение к дефицитам. Мне, например, Елена достала у себя в ларьке кирзовые сапоги 35-го размера. Я в то время носил сапоги 35-размера и ходил во второй класс начальной школы имени Сурикова.

Жили они недружно, но спали всегда вместе. И привыкли, да и деваться им обоим было некуда, так как жилплощадь их являла собой отгороженное фанерой пространство, размером 2 на 3 равняется 6 кв. м. Правда, фанера была до самого потолка. Тут уж ничего не скажешь.

А жили они недружно. Видимо потому, что их обижали имеющиеся друг у друга различные скверные привычки.

Сам Николай Ефимыч очень любил сидеть на корточках, подпирая стену и покуривая махорочку. А также пьянствовать со всеми, кто соглашался с ним пьянствовать. Почему и пропивал обычно все заработанные деньги.

Демьян же его за это не кормила, а если и кормила, то — варевом, которое изготовлялось из муки, картошки, воды и пшена. И заправлялось вонючим желтым салом. Сало Николай Ефимыч получал откуда-то аккуратно, но плохого качества.

Тошнотворные ароматы плавали по кухне в процессе приготовления Демьяном семейной пищи.

Ясно, что это обижало Николая Ефимыча.

Раздражало его и то, что глухая любила бесстыдно танцевать под патефон, выпив водочки: задирая ноги и показывая краешки сиреневых панталон. Раздражало, но меньше, чем вонючая пища. Кроме того, его брала досада, что жена через ларек имеет левые деньги и прячет их на неизвестной сберкнижке, а ему не показывает. Делает вид, что их, левых, будто бы совсем и нет.

— Такой бы змее одну реформу сорок седьмого года, — бормотал Николай Ефимыч. Не понимая, что сберкнижка гарантирует все реформы. И деньги Елены, если они у ней есть, не пропадут никогда.

Так они и жили. И временами в отношениях между супругами наблюдались жуткие взрывы нетерпимости.

На Новый, 1956-й год Николай Ефимыч говорит:

— Демьян, давай сварим курухана.

А она не слышит.

— Курухана свариймо!? — кричит Николай Ефимыч.

Не слышит.

— Петуха мне сварил, падла. Пожрем хоть на Новый год, — орет он ей в ухо.

А она хоть бы хны.

Помолчала, а потом и заявляет:

— Не дам. Будет Новый год, и в новом году надо кушать.

От таких слов Николай Ефимыч весь пошел по роже красными пятнами и замахнулся на Елену табуреткой.

А разговор происходил на кухне. Пряткая и маленькая Демьян проворно отскочила к плите, схватила кипящий чайник и славно трахнула им Николая Ефимыча по голове.

Обваренный заметался, матерясь. Он крушил кухонную обстановку и орал. Он тыкался по углам и пинал стены.

— Ох, убью, — рычал Николай Ефимыч.

Но Демьян тихо-тихо ускользнула и была спрятана моей теткой в подполье. На крышку подполья надвинули для видимости комод. Новый 1956 год Демьян встретила среди картошек и бочек с капустой.

А Николай Ефимыч все мыкался по квартире, жалобно повторяя, что вот как найдет, так тут же сразу и убьет.

Физиономию ему укутали ватой и обвязали марлей. Он шлялся и щелочками глаз высматривал Елену. Его можно было принять за ряженого.

Сидела Демьян в подполье, сидела. Только сколько же, спрашивается, можно там сидеть? Но — сидела. И дождалась она 2-го января 1956 года, когда Николай Ефимыч отправился на работу. И решила она, черт с ним, сварить петуха. В свой ларек она не пошла.

А у них был петух. Вернее, у них сначала была курица и петух. Демьян думала, что курица выведет ей от петуха цыпляток. Цыплята вырастут, станут нести яйца. И Демьян будет полной владелицей куриных яиц. Захочет — съест. Захочет — продаст на колхозном рынке как излишки.

Хорошо она прикинула. А ничего, к сожалению, не сладилось. Потому что, во-первых, петух оказался какой-то не тот, квелый. Он и кур не топтал, а только сидел весь день на жердочке, нахохлившись.

И кура взяла да в ноябре месяце и подохла вдруг неизвестно от чего. Гуляла, куляла по курятнику, потом — лапки кверху. Подергалась, закоченела и стала синеть. Прямо удивительно, до чего быстро умерла курица!

Демьян, конечно, имела кой-какие подозрения. В частности, на тетку или на меня. Но их не высказывала. А не высказывала потому, что и сама толком не понимала: кому и зачем нужно было травить ее курицу.

И остался петух, которого Николай Ефимыч неоднократно просился съесть, но Елена не давала. Таким образом, 2-го января 1956 года она все же решила сварить петуха и стала его варить. А Николай Ефимыч в это время пошел на работу, на то производство, где он трудился по металлу.

Там он взял кольцо от подшипника, разрубил, распрямил, выколотил молотком, закалил, подправил. После этого он весь день ширкал по бывшему кольцу напильником.

— Николай Ефимыч, уж не перо ли ты себе мастеришь в рабочее время? Давай лучше похмелимся после праздничка, — говорили ему друзья-рабочие.

Но Николай Ефимыч насупившись ничего не отвечал и продолжал усердно ширкать напильником.

— Брось, Николай Ефимыч, не точи. Ты ведь, Николай Ефимыч, ножик этот на себя точишь, — уговаривал его один рассудительный человек, который так все наперед хорошо знал, что каждую минуту опасался, как бы кто ему не присветил по роже.

Но Николай Ефимыч, с загадочной улыбкой, отправился домой. Около крыльца, занесенного снегом, он немного постоял, посмотрел вокруг.

— Век свободы не видать, — пробормотал Николай Ефимыч и шагнул в дом.

И увидел, что дома, за фанерной стеной не воняет жареным желтым салом, что там, за фанерной стеной очень даже чисто. За фанерной стеной светло. За фанерной стеной на столе бутылка водки, хвост селедки, колбаса и огурцы. И кастрюля, а из кастрюли — пар петуха.

И по пару понял Николай Ефимыч, что он одержал полную и окончательную победу над женой. Что, возможно, и сберкнижка будет его, если она, конечно, есть. А обваренная физиономия — это чушь и мелочь.

Хмураясь, он сел за стол и заорал:

— Демьян!

Тотчас и она, точно как из-под земли.

— Здесь. Я здесь.

Тихая и робкая Елена.

— Садись! Давай! Выпьем!

И точно сели, и точно дали. Выпили. И точно — сели, пили, ели. Выпили поллитру, и стали пить вторую. И уже дело дошло до петуха. Он был вынут из кастрюли. И он был прекрасен.

Тогда Николай Ефимыч достал из кармана ножик, показал жене и объяснил, что ей угрожало. Жена отнеслась к зловещему предмету с той степенью искренности и уважения, которая была приятна Николаю Ефимычу. И он отдал ножик жене, и она стала отрезать ножку да ножку, крылышко да крылышко, шейку да гузку.

И они жрали петуха до полуночи, а когда пробило двенадцать, супруги окончательно стали пьяны и завалились спать, не сняв одежд.

Сейчас они оба уже старые и ходят еле-еле. У моей тетки они больше не живут. Теткин дом сломали, и их всех расселили по разным квартирам. Демьян и Николай Ефимыч получили однокомнатную в пятом микрорайоне.

Я их иногда встречаю. Они идут еле-еле и держатся друг за друга.

Да ведь сейчас оно, конечно, и жизнь не та: старые дома полома-

ны, кругом газ, свет, цвет, лифты, кафельные ванны, лоджии и горячая вода. Подполья и погреба исчезли, петухов и кур в городе никто не держит, в магазинах продают товары, асфальт кругом. Свободно идешь вечером по улице, встречаешь друзей и знакомых.

Вот и я их иногда встречаю. Они идут еле-еле. Они идут еле-еле и держатся друг за друга.

Вот так и съели петуха...

ПОРТРЕТ ТЮРЬМОРЕЗОВА Ф.Л.

Один московский гость путешествовал летом по просторам Сибири. Московского гостя все удивляло и все устраивало: взметнувшееся к небу передовое строительство, ленты рек и дорог, лица людей и их челюсти, жующие кедровую смолу. Московского гостя многое трогало: девушка, склонившая голову на плечо любимого в пропыленной армейской гимнастерке, ребята, которые нарисовали на майках портреты Пола Мак-Картни и „Ролинг стоунз“, светлые глаза сибирских стариков и старух. Московский человек знал жизнь.

И вот он как-то зашел на колхозный рынок одного районного сибирского городка. Москвич любил рынки, где гул и гам, где весело, где грузин, вращая глазами, подкидывает вверх арбуз, узбек призывает в свидетели аллаха, а русский мужик тихо стоит в очереди за пивом.

Путешественник приценился к фруктам и овощам. Отметил: виктория — 3 рубля 50 копеек, огурцы — 2 рубля 30 копеек, лук — 1 рубль 50 копеек. Там же на рынке он и увидел портрет Тюрьморезова Ф.Л.

Прямо там же на рынке, на стенке висели под стеклом фотографии, объединенные броским лозунгом „ОНИ НАМ МЕШАЮТ ЖИТЬ“.

Гость полюбопытствовал и был за это вполне вознагражден лицемерием серии гнусных харь — большей частью опухших, мутноглазых. Но среди них явно выделялся Тюрьморезов Ф.Л.

Тюрьморезов Ф.Л. выделялся среди них необычайно ясным взором и бодрой осанкой. Потому что все остальные обитатели фототрины стояли, согнувшись крючком, стояли, умоляюще протянув руки к фотообъективу.

А Тюрьморезов Ф.Л. взирает на мир довольно дерзко, имел свежую курчавую бороду, мощный торс его был одет в тельняшку, а поверх тельняшки носил Тюрьморезов Ф.Л. пиджак. Вот так!

И текст под Тюрьморезовым Ф.Л., который объяснял все его положение.

„ТЮРЬМОРЕЗОВ Ф.Л., 1939 г. рожд., С ЯНВАРЯ 1972 г НИГДЕ НЕ РАБОТАЕТ, ПЬЯНСТВУЕТ, ВЕДЕТ ПАРАЗИТИЧЕСКИЙ, АНТИ-ОБЩЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ“.

Московский гость глубоко задумался.

А рядом оказались два милиционера в серых рубашках навы-

пуск. Они беседовали исключительно друг с другом, надзирали окружающую торговлю и время от времени трогали пальчиком выступающую из-под рубахи кожаную кобуру.

Московский гость, преодолев природную скромность, вежливо обратился к стражам порядка:

— Товарищи! Если этот объект находится в вашем ведении, то позвольте мне забрать портрет Тюрморезова Ф.Л. раз и навсегда.

Милиционеры опешили.

— В нашем-то в нашем, — помедлив, отвечали они, видя перед собой приличного человека с портфелем. — А только для вас он за чем?

— Вы знаете, я попытаюсь вам сейчас объяснить, — сказал московский гость. — Несмотря на то, что гражданин Тюрморезов — явно сугубо отрицательный тип, от него исходит какая-то внутренняя сила, его, фигура где-то как-то по большому счету даже как-то убеждает. Бодрит.

Милиционеры оживились.

— Да уж что, — согласился один из них — худенький, бледный, — убеждать-то он мастер. Как пойдет молоть — заслушаешься! Он тебе и черта, он тебе и дьявола вспомнит. А особенно упирает на бога, на Иисуса Христа. Он, однако, молокан, ли чо ли? Все больше на религию упирает. Я правильно говорю, Рябов? — обратился он к другому милиционеру.

— Ага. Все точно, Гриша, — кивал синеглазый и пожилой Рябов. — Он свое учение имеет. Однако он не молокан, потому что, — тут милиционер выдержал значительную паузу, — потому что он — иудеец!

Так сказал Рябов, а потом снял форменную фуражку, вытер нутро фуражки носовым платком и повторил:

— Иудеец он, родом из Креповки.

— Ну и что, что из Креповки, — всколыхнулся Гриша. — Если из Креповки, так он — молокан. В Креповке молоканы живут.

— А там живут вовсе не молоканы, а там живут иудейцы. — Рябов надел фуражку. — Их еще при царе выслали. Они все по видимости — русские, но вера у них еврейская. Их выслали, а они царю подали прошение, чтобы их назвать. Вот царь их и назвал — село Иудино. И уж после Ленин их переименовал в Креповку.

— Позвольте, — вмешался путешественник. — Это уж не в честь ли того крестьянина Крепова, который переписывался с Львом Толстым? И Лев Толстой его называл братом. И он еще какую-то книжку написал, тот Крепов. Про туеядство и земледелие. Я в „Литературке” читал...

— Во-во, — сказал Рябов. — Я сам из этих мест. Точно, оно названо по какому-то крестьянину. А раз Креповка, то и крестьянин, значит, Крепов.

— И что же это — Лев Николаевич Толстой стал бы тебе переписываться с иудейцем? — ехидно спросил Гриша. — Говорю ж тебе — там полсела иудейцы, а полсела — молоканы. А потом — будь он иудеец, так он бы на Христа не упирал. Потому что иудей не верит в Христа, а верит только в субботу. Их в субботу хрен выгонишь работать. Я-то знаю.

— А молокан, по-твоему, в Христа верит? Ты зайди к нему домой — у него ни одной иконы нету.

— Ну и что, что нету икон? — возражал оппонент. — У молокана икон, действительно, нету, но в Христа он верит. Вот и Тюрморезов говорит, что Христос был социалист, от Каина родились все мировые сволочи, а сам он — авелевец.

— А, иди ты! То — молокан, то — авелевец. Сам не знаешь, что мелешь! — Рябов отвернулся и махнул рукой.

— А не слишком ли вы это слишком? — опять влез в беседу москвич, указывая на фотовитрину. — Это я имею в виду, что тут написано — „он ведет паразитический образ жизни, пьянствует“?

— Не, — горько отвечали милиционеры. — Все голима правда. И не работает нигде, и хлещет, как конь, и деньги ему дураки дают.

— А вдруг он СЛУЧАЙНО не работает с января месяца 1972 года, — не сдавался гость. — Может, просто еще не устроился как следует в городе человек! Все-таки всего шесть месяцев прошло...

— Как же, — ухмыльнулся милиционер Гриша. — Он и в прошлом году всего два дня работал. Его когда первый раз привели в отделение, я его спрашиваю: „фамилия, имя, отчество“, а он: „Разин Степан Тимофеевич“. И зубы скалит, бессовестная харя.

— А никакой он и не молокан, и не иудеец, — вдруг рассердился милиционер Рябов. — Натуральный бич — только туману на себя напускает. Разве молокан, разве иудеец жрали бы столько водки? А этому поллитру взять на зуб — все одно, что нам на троих четушку. Я сам видел — гражданин купил в „гастрономе“ 0,5 „Экстры“, а этот в магазин залетел. „Позвольте полюбопытствовать“. Выхватил у гражданина бутылку, скусил зубами горлышко да и вылил ее всю в свое поганое хайло! Выпил — и был таков. Все аж офонарели!

Милиционер сплюнул.

— Это как же так... вылил? — ахнул гость.

— А вот так — взял и вылил, — разъяснил Рябов. — Пасть разинул, вылил, стекло выплюнул и ушел.

— Не, все-таки он не иудеец, — сказал Гриша. — Может быть, он и не молокан, но уж во всяком случае не иудеец.

И неизвестно, чем бы закончился этот длинный спор относительно религиозной принадлежности Тюрморезова Ф.Л., как вдруг по базару прошел некий ропот.

Милиционеры подобрались и посуровели. Меж торговых рядов

пробирался высокий ухмыляющийся мужик. Он махал руками и что-то кричал. Старушки почтительно кланялись мужику. Мужик схватил огурец и запихал его в бороду. Когда он подошел к фотовитрине, лишь хрумканье слышалось из глубин мужиковой бороды. И вовсе не надо было быть москвичем, чтобы узнать в прибывшем Тюрморезова Ф.Л.

Тюрморезов Ф.Л. внимательно посмотрел на свое изображение.

— Все висит? — строго спросил он.

— Висит, — скупно отвечали милиционеры. — А вы на работу стали, Фален Лукич?

— Я вам сказал! — Тюрморезов глядел орлом. — Пока мне не дадут соответствующий моему уму оклад 250 рублей в месяц, я на работу не стану.

— Да у нас начальник получает 150, — не выдержали милиционеры. — Ишь ты, чего он захотел, гусь!

— Значит, у него и мозгов на 150 рублей. А мне надо лишь необходимое для поддержания жизни в этом теле. — И Тюрморезов указал на свое тело, требующее 250 рублей.

— Вы эти шутки про Тищенко оставьте, — жестко пресекли его милиционеры. — Последний раз — даем вам три дня, а потом — пеняйте на себя.

— Да что вы так уж сразу и кричите, — примирительно сказал Тюрморезов. — На человека нельзя кричать. Христос не велел ни на кого кричать. Эх, был бы жив Христос — сразу мне отвалил 250 рэ в месяц. Уж этот-то не пожалел бы! А вы, уважаемые граждане, а пока, между прочим, даже и товарищи, — одолжите-ка человеку папиросочку. Дайте-ка, пожалуйста, закурить-пофантить!

Милиционеры замаялись, а московскому гостю тоже захотелось принять участие в событиях.

— Может, моих закурите? Американские. „Винстон”. Не курили?

— Могу и американских, — согласился Тюрморезов. — В свете международной обстановки, могу и американских. Дай-ка два штука, братка, коли такой добрый.

И он вытащил из глянцевої пачки московского гостя множество сигарет. Спрятал их за уши, затырил в дремучую бороду.

— Ну и фамилия у вас! — игриво сказал московский гость, поднося Тюрморезову огоньку от газовой зажигалки. — Вот уж и родители, верно, были у вас, а? Оставили вам фамилию!

И тут Тюрморезов Ф.Л. на глазах всех присутствующих совершенно одичал. Его волосы вздыбились, глаза налились кровью, и даже сигарета торчала изо рта, как казацкая пика.

— Ты чего сказал про родителей, кутырь?! — мощно выдохнул Тюрморезов и протянул длань, чтобы схватить московского гостя за грудки.

— А ну-ка прими руки, Тюрморезов! — крикнули милиционеры и грудью стали на защиту московского гостя.

— Да нет. Он — ничего, — стушевался гость. — Он за внешней оболочкой прячет доброту. Вы, пожалуйста, не обижайтесь, товарищ Тюрморезов. Я — так.

— А вот и не бухти тогда попусту, раз так, — с удовольствием резюмировал Тюрморезов, смачно выдохнул дым и навсегда остался жить в Сибири.

А московский гость вскорости возвратился в Москву. Там он и служит сейчас на прежнем месте, в издательстве. Начальство им очень довольны, и к празднику он, было, получил хорошую премию. Но ее у него почти всю отобрала жена, потому что захотела купить себе норковую шубу. Насмотрелась различных фильмов на закрытых просмотрах, вот и захотела. А ведь такая вещь стоит громадных денег! Вот вам типичный пример отрицательного влияния буржуазной эстетики на слабую душу!

САНИ И ЛОШАДИ

Тогда нашу улицу еще не замостили, вернее, замостили, но не сразу. Сначала не замостили, а потом выложили звонким булыжником, а потом накатились асфальтовые катки, заклокотали асфальтовые чаны. Замазали все, закатали, пригладили улицу и даже стали зимой убирать снег. Вот какие изменения вышли на нашей тихой улочке.

А тогда было лето. Тогда была летом желтая и серая пыль, которую поднимали колеса телег, курицы и пацаньи ноги.

Пыль, где прятались маленькие невидные стеклышки, которые вспарывали пятку, и получались шарики, капли пыли. А кровь густела от желтой и серой пыли, и шла сначала грязная кровь, и она потом густела, и вообще ничего уже не было, и заживало все намертво.

Снег выпадал, и его мяли полозья по прямой, но еще не было скрипа. А лошадка заносила ножки немного вбок, потому что быстро: и горяч пар пасти лошадиной, и спиралька в воздухе исчезает. Изредка полуторка проедет или „ЗИС“, а так все больше — сани и лошади.

Сани были разные. Самые любимые мои — трест очистки города — ездили с квадратными деревянными коробками. Внутри труха, грязный снег — ненужное за город. Цепляешься сзади — и спереди не видно, и удобно. И катишь каретным лакеем.

А вот сани „Хлеб“ и сани „Почта“ — отвратительные. Гладкие, все в железных замках, холодные.

А вот розвальни, они такие — середка на половинку: ехать-то можно, а коли заметят, так и жиганут кнутом за милую душу.

Сани, лошадей вижу, а вот физиономии возчиков, кучеров стерлись все. Начисто. Некая обобщенная фигура. Полушубок. Опояска. Катанки. Шапка. Ватные рукавицы.

И лишь харя одного молодца мне все помнится и помнится. Как живая передо мной мельтешит. И ухмыляется, препаскудная.

Сани были кошевые, от начальника. Из-за угла шли ровно и медленно, хотя конь горячил, дергал башкой, грыз железо. А хозяин вожжу на руку намотал и „хр-р-р“ — конь желтые зубы показывает. — „Хр-р-р“.

И смотрит кучер на меня и знает, что я уже приспособился, ноги напружинил. И знает, что ни в жизнь не коснусь я его саней, потому

что понял, что и он тоже все про меня понял.

И тогда —

— а вид его был таков: москвичка-цигейковый воротник шалью, валяные сапоги — в него по голяшки запиханы, спелая прядка выбивается из-под папахи, а рыло дышит силой, молодостью и красотой —

и тогда:

— Мальчик, — кричит, — а ты цепляйся, я прокачу, че ты, пацан...

А я молчу.

— Да не бойсь ты, дурачок, цепляйся, мы прокатимся шас.

Ну, я и цепляюсь, значит, дурачок.

А он коня тогда кнутом.

И — эх несемся мы. Я на запятках, он папаху заломил. Поет „Ты лети с дороги, птица”.

И от скорости кажется, что сани не по ровной дороге мчат, а по некой волшебной волнистой поверхности. И заносит, и выносит их, а голову опустишь — мельк в глазах, мельк снежно — серый. И ничего не видно.

— Ты лети, — говорит, — с дороги, птица...

— Зверь, — говорит, — с дороги уходи...

А потом обернулся, да как харкнет мне — прямо в морду ли, в лицо? Не знаю даже, как и назвать это после того, как в него плюнут.

Ну, я утерся, и мы дальше едем. Но только я уже со смущенной душой, тоскуя и томясь. Прыгать надо, а страшно. А возчик-то, змей, и не смотрит на меня. И ни „га-га-га” и ни „хи-хи-хи”.

А потом обернулся, гад, и еще раз в меня „харк”, и вот это-то и погубило его, неразумного.

Потому что после второго раза я приобрел сноровку и смелость я приобрел.

Ссыпался с саней. Ледышку подобрал, кинул и вдарил точно по мужику. Со страшной силой. И вижу, что точно по башке я ему заехал.

И тормозит раненый мужик, а я в подворотню. Встречную старушку в сугроб, сам за забор — скок. Пальтишко только мелькнуло. Дрова. Сарай. Затаился в углу.

И слышал тягостные скрипучие шаги, и скрежет зубов, и кашель, и мат, но был умен, тих, неподвижен, а потому и не найден.

А отсидевшись, вышел на ту же нашу улицу и вижу —

снег,

снег, снежинки новые уже падают, а на старом снегу — комковатом, желтеющем — красные пятна. И их новые снежинки засыпают, засыпают. Скоро все скроют.

РЕАЛИЗМ

Прошу на меня не сердиться, а лучше послушать, как себя вел один вальяжный писатель, когда приехал из Центра к нам в Сибирь, где его перво-наперво завели в шикарный ресторанчик на берегу реки Енисей.

Наши ему и говорят:

— Как Вы совершенно правы, что видите в русском патриархальном патриотизме нечто более важное, чем в чем-либо другом.

Писатель с ними совершенно согласился. Он снял вальяжную синтетическую куртку и сказал:

— Вы знаете, я мою куртку в гардероб никогда не сдаю. Попробуйте — она легкая, как пушинка.

Ну, наши и попробовали легкую, как пушинка, куртку, и убедились, что куртка, действительно легкая, как пушинка.

Прошли в зал. Наши ему:

— И ведь Вы совершенно точно прослеживаете в своих произведениях эти корни, истоками уходящие в прошлое и тем не менее находящиеся на гребне волны современности.

И Писатель опять не возражал. Он только заметил:

— Но вы не подумайте, что моя куртка холодная. Мне в моей куртке никакая стужа не страшна. У ней подкладка тоньше писчего листа, а греет лучше многих килограммов ватина. Да вот вы попробуйте! Смелее! Смелее!

И наши тут попробовали и опять были вынуждены согласиться.

Принесли обедать. Не стану описывать что. Последнее не входит в мои обязанности. Факт тот, что наши разомлели и кричат:

— Спасибо Вам за то, что Вы живете!

А он-то им и отвечает:

— Но самое прекрасное в моей куртке — это молния. Это такая молния, что она может сама сразу расстегиваться с двух сторон, что значительно облегчает процесс сидения на стуле ли, в кресле ли — в самых различных местах.

Тут над столиком возник легкий шум восторга, а Писатель осмотрел присутствующих и озорно, с какой-то доброй смешинкой-лукавинкой в глазах, произнес монолог:

— И все-таки, товарищи, куртка — это еще не все. Ведь куртка — всего-навсего кожа человека, а у человека главным должно быть серд-

це. А на сердце у меня одна забота: как бы мне занять лучший номер в гостинице и как бы мне за короткий промежуток времени сделать побольше выступлений, за каждое из которых я получу по пятнадцать рублей наличными из кассы бюро пропаганды художественной литературы.

Слово „наличные” потрясло присутствующих. Некоторые не то, чтобы покривились — упали Бог! — они как-то странно задумались. А у Варьки Саякиной, поэтессы, даже выступили мелкие слезки на глазах, и ладони молитвенно сложенных рук мелко вспотели.

Гость, казалось, остался очень доволен произведенным эффектом. Он ухмыльнулся в густые, начинающие седесть, курчавые бальзаковские усы, снова озорно осмотрел собравшихся и с еще более доброй смешинкой-лукавинкой продолжал:

— Не отрицайте, друзья, что многие сейчас подумали обо мне неплохо: куртка, дескать, гостиница, деньги! Но поймите, что все это делается мной сознательно. Во имя моего, то есть нашего дела. Это — реализм, друзья, реализм нашей сознательной жизни! Ведь мы с вами делаем одно большое дело и должны убрать все преграды с пути нашего большого дела. Ведь чем больше я якобы забочусь о себе, тем лучше я выступлю и тем больше народу услышит, как я правдиво и интересно обо всем рассказываю! Понятно? Пóнято, друзья?

Вот тут-то наши и разинули рты. Да! Им, мелким сошкам, еще многому чему надо было бы подучиться у важного гостя, чтобы достичь его высот! Так я им всем об этом и сказал. А они меня, как всегда, поняли неправильно! Взяли на руки и выкинули вон из паскудного кабака на улицу! И это уже в который раз!

КАК ВСЕ ИСЧЕЗЛО НАЧИСТО

Мать моя осталась тогда одна в нашем родном городке, который разросся за счет притока заводов из Европы во время последней мировой войны.

А я поехал на Алдан с целью заработать много денег, чтоб потом мы тихо зажили с матерью в собственном домике на окраине городка и жили там так, пока не умерла бы сначала она, а потом и я.

Существовал без шума. Если по первому времени работа была для меня тяжела, то потом я пообвыкся и тяжести ее не замечал. Я канавы рыл в геологической партии, со взрывом. Сначала бурку бурил, потом грунт взрывал, потом кайлом да лопатой углублял, расширял, чистил — забуришься, взорвешь, углубишь, расширишь, почистишь — и готово дело.

Но это только так кажется легко, как я написал на бумаге, а на самом деле, как многие говорили, зверская эта работа, и многие с нее уходили, потому что — физическое изнеможение каждый день, не взирая на хорошую оплату.

...Я заканчивал школу-десятилетку, а жили мы все в том же коммунальном доме, в котором и осталась после одна моя мать, без меня.

Я-то уж знал, что из меня получится что-нибудь *такое, эдакое, отличное*, отличное от всего того, что меня окружало, а окружало меня одиночество матери, люди маленького нашего городка, который разросся за счет притока заводов из Европы во время последней мировой войны, отсутствие блистательной родни и книги Паустовского по вечерам, когда верхний свет убран, а в центре светового овала настольной лампы милые сердцу страницы, и у мальчика ком в горле от неземной нежности.

Ходил по городу, камушки в Енисей бросал и знал, что все будет не здесь, и все будет другое, а когда, где и как, даже и не задумывался и не знал, и никто в целом свете, в том числе и Паустовский, никто ничего не мог мне подсказать.

Ну и вот. Школа. Вечер выпускной. Бал. Я задыхался. Угостили вином, плясал чарльстон, который я плясать не умею и никогда, по видимому, не научусь. Выбегал на лестницу, раздувал ноздри, выкинул даже в окно последние свои школьные стихи — листочек из тетрадки в клеточку. „Лети, лети! Это письмо в жизнь, а я скоро при-

буду сам, я скоро буду, я скоро прибуду следом за письмом своим, я буду умен и важен, я буду на коне, на белом коне, в гриву которого вплетены красные ленточки..." Противно мне это вспоминать.

И потом как-то все не так, не туда: в институт поступил, поучился, заболел, отстал, плюнул, хотя, если разобраться, зачем мне было в инженеры? Поотирался и по различным мелкоинтеллигентным должностям — лаборант, чертежник, коллектор, техник — и все при разных институтах. Надеялся я таким путем, через институты хотя бы заочный факультет кончить, что ли?

Пока к такому выводу не пришел, к которому все, кто не вылез, не прорвался, рано или поздно приходят, к простому такому выводу, что *не будет толку*.

А понял я это, когда как-то полночь центральной улицей домой пробирался. А навстречу мне поток белозубой молодежи. Лет по семнадцати. Гитары они имели и играли звонко, а к нижней губе сигаретка приклеилась, а как одному играть надоест, так он гитару по воздуху приятелю своему перебрасывает, и приятель ровно с того места мелодию продолжает, на котором первый закончил.

Серость моя и незаметность на фоне этого парада новых форм были столь очевидны, что я даже и ночь бессонную проводить не стал, а напротив — хорошенько выспался и на следующий день хорошенько выспался, и уже через недельку примерно объявил матери, как мы с ней дальше будем жить: что будут деньги и будет домик, свой, домик с двойным одиночеством и что для этого всего мне нужно немного, но крепко поработать.

Мать моя книжек довольно много прочитала, пока окончательно не разболелась. И, хотя книжки в то время, когда она не болела, продавались все больше сейчас неизвестные — без приключений, людских слабостей и всемирного негодяйства — она тоже не хотела видеть меня советским мещанином в собственном домике на окраине, тоже ей нужно было от меня чего-нибудь „эдаково“, „таково“, ну, в общем, чуть выше, чем папа с мамой жили, поинтересней и чтоб как-нибудь не так.

Ну, а уж тогда, когда я на заработки поехал, а она осталась одна в нашем городке, она во мнениях не то, чтобы переменялась, а просто, по-моему, их уже не имела, желая, чтобы все стало как-нибудь получше и потише.

Мой поезд уходил вечером, и весь день я угощался и угощал, прощаясь со своими друзьями, которых осталось у меня там не так уж много. И это хорошо, что я о своих друзьях сейчас вспомнил, потому что я люблю своих друзей. Но они — дома, а я — уезжаю, и о чем я буду говорить с ними, когда вернусь? Разверну свиток трагикомических ситуаций геологического типа: про патроны, взрывы, медведей и пресечение незаконных поступков чинами милиции — все те байки, которые рассказывает, вернувшись с Севера, молодой человек моих лет.

Угощался. Угощал и выпивал. Потом с матерью прощался, крест-накрест целовался, а друзья в коридор вышли покурить — не мешать, а мама все в кровати лежала, болела, а тут встала и на тяжелых ногах вышла на крыльцо, когда я был уже около ворот, и слабо что-то кричала, а я не выдержал и вернулся от ворот назад, когда она уже просто плакала — волос с проседью. „Ну как? Ну почему так?“ И я ее еще раз поцеловал, крепко, в лоб, и тут почувствовали мои губы, что кожа у ней дряблая и больная — от болезней, от одинокой комнаты, от жизни, в которой есть место не для всех живых...

Вот и рассказал я вам основные положения моей жизни до того момента, когда мать моя осталась там, а я жил на Алдане, тихо жил, пообвыкся, копейку гнал, короче.

...Канавы колупал со страшной силой на пару с Федей Александровым — новосибирским бичом. По вечерам дулся в „тысячу“, в „кин-га“, читал случайную литературу, например: „У самой границы“, „Тайна белого пятна“, „Дон-Кихот“, „Юность“ №4 и №5 за 1965 год, разговаривал с Федей насчет мировых проблем, а также два раза напился в поселке до утренней блевоты, зверским образом — в общем тихо жил и ни о чем не думал.

Почти все деньги пересылал матери — крупно, оставляя себе лишь на жратву, слабую выпивку и некоторую одежду.

Так вот и жил. Покажется рубль на дне канавном, кайлом его цепляешь, да лопатой, а рубль — он то покажется, то исчезнет, а ты, как пес, ковыряешься: все кайлишь да лопатишь, взрываешь да чистишь.

И вот как-то раз обрыдла мне вся хреновина эта, и решил я выбраться в поселок, в цивилизацию, где можно и пива попить, и кино поглядеть, и в бане помыться, и на почту сходить. Набрал я от начальника денег и прибыл в поселок на казенной машине, утром.

А в поселке тихо. Там, кто работает, так тот на работе. Кто пьет, так тот опохмеляется, и пошел я в столовую, где съел яичницу из настоящих яиц, поел, запил и отправился на почту, чтобы оформить очередной перевод домой.

А там сидят уже Даша и Вера — две местные „чувихи с печи“, листают журнал мод „Рига-66“, и неизвестный мужик, которого всего аж трясет с похмелья, и перед ним лежит большой исписанный лист бумаги с различными закорючками, которые являют собой нечто вроде росписи фамилии И.Иванов.

И объяснил мне мужик, заметив, что я очень сочувственно на него смотрю, что он самый и есть Иванов Иван, и что, „анадысь он пришел и все заработанные деньги поклат на аккредитив“, а сам был „очень выпимши“ и поэтому расписался непонятной закорючкой, которую сегодня он никак повторить не может — уж больно замысловата она, а повторить обязательно нужно — иначе денег ни грамма ему не дадут,

согласно инструкции, хотя он и есть натуральный Иванов Иван и деньгам своим полный хозяин.

Но меня уже не интересовал мужик Иванов, потому что у меня были свои дела, своя жизнь и свой расклад. Мне перевод оформлять надо было, чтоб потом дом покупать на окраине нашего городка, который разросся за счет притока заводов из Европы во время последней мировой войны.

И во время то, когда я заполнял бланк на отправление, пришла мне на ум одна хорошая идея, которую я немедленно стал выполнять. Дай-ка, я думаю, навывисываю-ка я хорошую кучу журналов и газет самого разного толку, а подписку оформлю на мамашу. На целый год, а то лучше и на два. И ей напишу, чтоб она литературу до странички сохранила. Не подшивала, конечно, — зачем? — а просто так, хранила бы и все.

А я потом приеду, на диванчик заберусь в нашем домике на окраине, заберусь после легкого рабочего дня на той работе, которую я себе выберу, на которую я устроюсь, чтоб меня в тунядшы не зачислили, заберусь и буду почитывать да покуривать. Ловко? А? А мать в это время будет смотреть телевизор и мне расскажет все, что там происходит, а если что-нибудь будет очень уж такое интересное, так я и сам встану взглянуть, а ужин нам по заказу из домовой кухни принесут, в трех судках.

— На два года, — говорю, — хочется подписаться.

— Только на год, — говорят, — можно.

— А на два нельзя, — говорю, — сразу?

— Нельзя, — говорят.

— А почему, — говорю.

— А мы не знаем, — говорят.

— Ну и ладно тогда, — говорю, — действуйте.

И заказал, так сказать, все ихнее меню.

А потом, покинув почту, я посетил и кино, где мне очень не понравился французский фильм „Бебер — путешественник” — про одного отвратительного и балованного французского ребенка, которого нужно было драть ремнем, а все с ним только и знали, что носились и нянчились. Ну, ладно. К вечеру я крепко поддал, был погружен в казенную машину и доставлен к месту работы, чтоб опять взрывать, кайлить, чистить.

И вот на следующий день, утром, сел я перекурить и вижу, что идет, шатаясь, Коля Старостин, бич, тот самый, что на пьянках всегда засыпает. Другие шебутятся кто, покоя не знают, а он уже спит в это время — знай храпы выдает. Идет, шатаясь, Коля Старостин, бич, и стонет жалобно так вот „Ой-ой-ой”, а это верный признак, что он опять с перепою и ночевал не там, где надо.

И стали мы с ним беседы вести, и рассказал Старостин ужасную

историю, как он шел домой с собственных именин, которые он справлял не у себя дома, а у буровиков, шел и заснул под крестами, что так и спал он нынче под крестами, которые поставлены в память о погибших топографах в устье ручья, на тропинке, заснул, потому что всегда Старостин на пьянках спит, а пробуждение его было ужасным — звезды небесные, кресты над головой, три штуки, кругом — ни души, и филин еще ухает вдобавок...

А я на него смотрю, и в глазах у меня темнеет. Со страху что ли, от предчувствия ли, с похмелья, черт его знает от чего.

И действительно — подает мне Старостин телеграмму, где черным по белому написано, что мать моя совсем плохая и чтоб я немедленно тут же ехал, как можно скорее.

...сплю и все тут, — сообщает Коля. — Ты меня скоро не увидишь. Я скоро пьяный где-нибудь замерзну.

...а я вот сейчас расчет возьму и приеду домой, а дома пусто, а я пойду на кладбище, а сейчас — осень, а там ни скамеечки нет, ни оградки, ни кустика, нехорошо, ветер там на кладбище, вороны над церковью кружат, а у меня больше никого нет и никого не будет, а кто же будет со мной газеты и журналы читать? Все, все исчезло начисто, нету — никого, ничего нету, никого, ничего, и не будет. Никогда.

Забросил лопату.

— Я с тобой, Коля.

— На фига?

— Мать у меня при смерти.

— Помирает?

— Помирает.

— Моя тоже без меня померла. И я помру, и ты помрешь. Эх, Алдан ты мой, Алдан, ха-арошая страна! — запел и закривлялся бич.

— А может, успею? — сказал я.

— Может и успеешь, — ответил бич.

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ ВСТРЕЧИ

— Послушай, Ваня, сделай милость, —
Сказал Ивану генерал. —
Преодолей свою ты хилость,
Которой Бог тебя карал.

— Сыграли б вы на пианине, —
В ответ Иван нахально так. —
А то, подобные скотине,
Кричите будто я — дурак.

— Твои невероятны речи, —
Рек генерал, оторопев. —
В момент **ТОРЖЕСТВЕННЫХ**
ВСТРЕЧИ
Ты, друг, сажаешь злой посев.

О чем предмет твоего спора?
Не знаешь? То-то!!! и т.д.

Из поэзии Н.Н.Фетисова

— Один шалопай в черном пальто зашел раз случайно в издательство, где у него работала подружка, редактируя различные книги, написанные на русском языке.

И там случился, с вашего позволения, эпизод, или, как говорится, инцидент случился, не ставший достоянием историков.

Вот. А была весна, и вся природа находилась в состоянии аффекта. Пели из окошек нежные голоса, плыли тучки, сохли лужи, и прохожие прыгали, подбирая длинные и широкие брюки. Длинные и широкие потому, что дело происходило во времена давние и незапамятные, а когда именно — не скажу, потому что это — не важно.

Пели из окошек нежные голоса, сохли лужи, плыли тучки, облачки. Одним словом — весна.

А шалопай ехал в метро. Он вышел из метро и увидел площадь, и заметил, что на площади этой ведется значительная купля и продажа.

Там и сям предлагают желающим великолепные изделия и предметы первой необходимости: мясные пироги, мороженое, соки, вино и газировку. Любителям — цветы: фиалочки, тюльпаны, мимозу, пионы.

Справа какие-то блестящие ботинки на микропоре тащут, слева — горячие бублики жрут, а впереди — сиянье. Это сияют отраженным солнечным светом окна издательства. Милое доброе старое издательство! Оно и до сих пор там стоит. На земле. Понимаете, существует земля. На земле — асфальт, а на асфальте стоит издательство.

— Тэк-с, — сказал шалопай, облизывая пересохшие губы. Приобрел пиончик да и направился к подружке.

А она работала аж на самом на тринадцатом этаже. На тринадцатом этаже работала подружка, редактирующая книги. Работала. Зачеркивала какие-то слова и надписывала новые, лучшие. На тринадцатом этаже. К ней нужно было ехать в лифте.

Лифт. Наиприятнейшие ощущения вызывает лифт у того, кто умеет им пользоваться, а именно — слабость, негу, томление и вместе с тем уверенность в своих силах.

И ведь как положительно влияет лифт! Замечали? Заметьте, что почти все за малым исключением люди, пользующиеся лифтом, такие всегда милые, добрые, славные. Посмотришь на них, а они все щебечут, щебечут да щебечут, держа при этом друг друга за локоток или за что придется. Это прямо голуби, а не люди. Сизари. Факт. Лифт!

Предчувствуя наиприятнейшие ощущения, шалопай стоял тихо, и лифт уже спешил к нему, падал, продираясь сквозь этажи.

И так увлекся, и так сосредоточился ожидающий шалопай, что вовсе и не заметил значительных размеров объявление, занимавшее стену — „СЕГОДНЯ СОСТОИТСЯ ВСТРЕЧА...” Не заметил, хотя и был глазаст. Стоял себе тихо, ждал лифт.

Вот так тихо и зашел бы он, тихо поехал, тихо подарил бы цветочек, обрадовав подружку, но тут вдруг доселе пустынный вестибюль помещения весь вдруг оживился странной компанией.

Спеша влетели с улицы. Распахнулись просторные двери, и в помещение ворвалось значительное количество молодых людей, одетых в очки, галстуки, белые сорочки и черные пиджаки.

Влетели, ворвались и двигались к лифту сомкнутым кругом и в центре сомкнутого круга их черных голов светилось нечто.

Приблизились. И это „нечто” оказалось не что иное, как лысая голова какого-то дяденьки. Лысая голова, крытая по периферии венчиками и пучками седых волос.

Приблизились. Дяденька оказался бодрым, ладным и крепким стариканом. Одетый чистенько, он с невероятным любопытством озирался вокруг. Дескать, ничего не знаю, ничего и не ведаю, ведите меня, куда хотите, люди добрые, а только по дороге не зарежьте.

Лифт. Тут, наконец, подошел лифт, и молодые люди внезапно зашипели, как будто они были не молодые люди, а ужи.

— Пш-ш, пш-пш, — шипели они, отесняя шалопая в сторону. — Пш-пш. Позвольте! Минутку! Мы только подыдем, мы подыдем то-

варища, гыу-гх-емм. Он приехал. Его ждут.

— Ах, как прелестно, но все же где я? — продолжал якобы ничего не понимать дяденька, лицо которого показалось шалопаю до боли знакомым.

Лифт. Тут молодые люди принялись и за дяденьку-старикана.

— Пожалуйте, пожалуйста. Так вам будет удобней, — говорили молодые люди, запихивая до боли знакомое лицо в кабину.

Говорили, толкали, пихали и сами, между делом, пытались забраться туда же.

Но дяденька-старикан оказался вовсе не какой-нибудь там надзвездный дурак. Он лукаво погрозил молодежи розовым пальчиком, отчего та брызнула в стороны и вверх по ступеням в целях скорейшей встречи.

Шалопай стоял всеми забытый.

Дверцы закрылись и были закрытые, но лифт никуда не поехал, потому что дверцы открылись и оттуда высунулся дяденька, и сказал, приманив шалопаю уже использованным пальчиком.

— Простите! Вы, кажется, хотели ехать? Тут такая кутерьма. Простите. Хотели?

— Ну, хотел, — отвечал шалопай, не трогаясь с места.

— Вот и чудненько. Поехали.

И они поехали. Дяденька-старикан строго глядел в зеркало и выглядел орлом. Шалопай же увлекся изучением деревянной стенки, где было вырезано ножом слово „опорос”.

Ну и конечно. Догадываетесь? Ясно, что это должно было случиться, потому что, как же иначе? И это случилось: лифт застрял меж этажей.

Воцарилось и установилось молчание. Первым его нарушил дяденька.

— Ну что, застряли, коллега? — ласково заметил он.

Отчего шалопай почувствовал сильнейшее раздражение и решил-ся ответить так:

— Застрять-то застряли, а только какой я вам к черту коллега? Тамбовский волк вам коллега.

— Ну уж, — не смутился старикан, завязывая беседу. — Эко резко-то. Молодость. Стихи пишете или прозу? Литературные неудачи, наверное? Ничего, в молодости все пишут.

До боли знакомое лицо.

— С чего это вы взяли, что я пишу?

— Но ведь мы с вами в издательстве, как-никак.

— А хоть бы где бы мы с вами не были. Хоть у первопечатника Ивана Федорова, — глупо грубил шалопай. — Если хотите, то пишу, но лишь многочисленные открытки друзьям, родным и знакомым, поздравляющие с различными праздниками.

— „Хочите”. Ишь! Скромность сатанинская... А тогда что же вы здесь делаете, молодой человек?

— Я сюда попал, потому что у меня тут работает подружка, и мы с ней сейчас пойдем в кино, если она сможет уйти.

— А-а. В кино. Ну, идите, идите.

Старикан зевнул. Шалопай со злобой смотрел на до боли знакомое лицо. Лицо молчало.

И лифт не работал. Уж и тревога случилась. Уж и молодые люди носились по лестницам, в беспокойстве звеня подковками башмаков. Уж и крик раздался: „Слесаря! Слесаря!”

И слесарь куда-то пропал.

— А что вы с ней собрались смотреть? — неожиданно продолжило лицо.

— Все, что угодно.

— Вот видите! Все, что угодно. А ведь хотели бы посмотреть что-либо хорошее. Или нехорошее. Например, фильм „Тарзан”.

— Хотел бы.

— Вот видите! — радовался старикан. — Вы колеблетесь и не знаете, и не можете. Из чего явствует, молодой человек, что у вас в голове туман.

— А у вас — свинец. Цельная чушка расплавленного свинца. Он уже застыл.

— Ой-ой-ой! Какой глупый максимализм! — огорчился дяденька.

Тут шалопай решил начать обличения.

— Я вот что думаю. Я вот все думаю, думаю и додуматься никак не могу. Я ведь вас сразу узнал. Я все думаю, зачем вы пишете? А? Ну, зачем? Бросьте вы это дело. А вообще-то пишите! Вы нужны. Вы просто необходимы, как эталон для грядущей техники. Потому что скоро отладят машины, и они со страшной силой будут шпарить произведения а ля Вы.

Молодые люди все бегали и носились. Они бегали и перекликались, аукались тоненькими голосами.

— Шлендают и шлендают. Ученики тоже называются. Учитель в лифте застрял, а они шлендают. Сукины дети, — рассердился писатель.

— Сами змеенышей воспитали, сами и терпите, — не замедлил отозваться шалопай.

— Ах-ха-хамс, — развеселился мастер художественного слова. — Дерзите! И ведь нарочно дерзите. Знаете, что мне это нравится. Вы мне нравитесь. Я знаю, что вы знаете, что вы мне нравитесь.

— Я многим кому нравлюсь. Вы лучше о себе подумайте. О спасении души подумайте, — продолжал бесчинствовать хулиган. — Пишите всякую чушь и дичь.

— Ха-ха-ха. А не хотите ли стать моим секретарем? Честное слово, я — серьезно. Честное слово. Мне, знаете ли, нравится ваша дерзость.

За ней что-то такое стоит. Ну, по рукам?

— Нет, не по рукам. Не хочу я быть вашим секретарем. Я ничьим секретарем быть не хочу. Я сам себе секретарь. А потом — вон у вас хевра какая, пусть они и будут ваши секретари.

— Нет. Они не годны. Идите ко мне в секретари, и я буду вам платить тысячу пятьсот рублей денег в месяц из своего кармана. Вот вам аванс.

И он вынул из кармана пачку хрустящих денег.

— Плевать я хочу на ваши тыщи! Мне мои трудовые рубли дороже! А если вы действительно хотите мне помочь или сделать для меня что-либо приятное, то мне гораздо милее будет взять вас за ушко и немного потрепать его вот так.

И шалопай схватил дяденьку-старикана за ушко...

...но тут я уже не выдержал и решительно прервал рассказчика, которым был никто иной, как Николай Николаевич Фетисов, регистратор больницы №1, проживающий у нас в полуподвале тихий гений — автор стихов, поэм, драм, тетралогий и устных небылиц.

— Николай Николаевич! Имей совесть! Это уж ты наверняка загнул. За ушко. А потом я что-то не припомню, чтобы ты бывал в Москве. Ты же тут как-то хвастался, что далее Омска твоя нога на запад не ступала и не ступит...

— Честное благородное слово! Чес-слово! — закричал Николай Николаевич, покрываясь красными пятнами. — Я там был. Это был эпизод. И подруга была. В том-то и дело, что он действительно предлагал, а я действительно отказался. Я отказался стать секретарем этого, я не скажу великого, но очень большого человека с усиками. Я его уважаю, но не жалею о том, что сделал, хотя вся моя жизнь могла построиться по иному.

— И взял его за ушко?

— Взял и хотел трепать.

— А он что?

— А он что. Он тоже не фраер. Он, падла, схватил меня за нос и стал гнуть мой нос к моей щеке, приговаривая: „Молода! Молода! В Саксонии не была!“ Это — прием каратэ. Я знаю. Я уважаю этого человека.

— А что потом?

— Что потом. Поехал лифт, конечно. Мы, ясно, расцепились. Старикан вышел, и его приветствовали многие, в том числе и моя подружка. Они говорили: „Пойдемте, пойдемте! Вас уже ждут.“ Меня же никто не приветствовал, не звал и не ждал, но зато я боролся со стариканом и чуть его не победил. А может даже и победил. Я независим и жив, а он — умер. Я написал стихи его памяти. Хочешь, прочту?

— В следующий раз как-нибудь, ладно? Вы лучше расскажите,

куда девалась ваша подружка.

— Какая подружка?

— Ну та, которая была в издательстве.

— А, Маня. С ней мы вскорости расстались. Вышла одна трагическая история. Она теперь замужем за кандидатом наук.

Стемнело. Наш тихий дворик на улице Засухина погрузился во тьму. На небо вышла полная луна. Она немного освещала землю, а заодно и взволнованное лицо Николая Николаевича.

— Что-то я, Николай Николаевич, как кого не послушаю, вас, например, или известного вам гражданина венгра Ласло Вареллу, который работает грузчиком в пятнадцатом магазине, или, не к слову будет сказано, бичей с вокзала, так у всех у вас были жены и подружки, и все они оказываются замужем за кандидатами наук или становятся артистками.

— А что тут удивительного, — защищался Николай Николаевич. — У нас в стране очень много кандидатов наук и артисток. Ты знаешь, сколько у нас по последней переписи переписано кандидатов наук и артисток? Не знаешь? То-то. А я знаю. Их у нас там переписано очень и очень много.

И опять он оказывался совершенно прав.

ЗЕЛЕНЫЙ МАССИВ

У меня есть знакомый. Его зовут дядя Сережа. Он делает гробы. Как-то раз мы с ним случайно встретились, и он меня чем-то поразил. Осанкой ли своей сутулого рабочего человека, строгим, может, обликом лица, имеющего выдающийся красный нос, речами ли — не помню.

С тех пор я к нему и зачастил.

Мастерская дяди Сережи находится в глубине кладбища №1 горкоммунхоза. Нужно пройти бывшую часовенку, где торгуют венками, цветами и лентами, через нищих, взывающих о помощи у разверстых дверей кладбищенского храма. По тихим и зеленым кладбищенским аллеям, минуя покосившиеся кресты и памятники. Старое оно, кладбище №1. И там даже уже запретили хоронить, ввиду старости и переполненности. Понимаете, издали указ, чтобы прекратить захоронения. И кладбище совсем закрыть для захоронения. И ровно через двадцать пять лет после последнего захоронения место это сравнять, сделав оспинку на лице земли.

Только ведь хоронят. Да. Все-таки хоронят, несмотря на ясный указ. Может, это, конечно, нарушение, но ведь и людей понять надо: какому умершему, спрашивается, захочется лежать вдалеке от родных? Каждому хочется, чтобы свои были под боком.

Вот почему кладбище №2, внезапно устроенное за городом по случаю закрытия кладбища №1, вызывало у горожан тихую и громкую ненависть. Несмотря на европейскую свою планировку и два миллиона рублей, отпущенных на его устройство, озеленение, ограждение.

— Там могилы экскаватором роют! Там — по порядку! Уж со своим не полежишь! Ветер там свищет, вместо покоя, — говорили горожане.

А на кладбище №1 порядка нет и будет он только тогда, когда кладбище кончится. Там вразброс — оградки, камни, деревья, скамеечки, склепы. Бродят люди. Бормочут нищие. Там в жаркий летний день пьяный спит среди могил, как впрочем будет спать и на кладбище №2, когда оно устроится. Там испитой могильщик роет землю, натываясь на старые кости и черепа. Там же, в глубине расположены административные службы, и среди прочих мастерская по изготовлению гробов, изготавливаемых дядей Сережей.

Куда я и зачастил к дяде Сереже, случайно с ним познакомив-

шись.

Чтобы попасть к нему, нужно открыть дверь и оказаться в бюро похоронного треста, где есть окошко в стене, и в окошке всегда сидит девка, принимающая заказы на изготовление похоронных принадлежностей. Лицо девки усеянно зрелыми прыщами и она весела. На стене висит картонка с надписью „Перечень услуг похоронного треста”. И стоит деревянная скамейка.

Но девка не начальник, а исполнитель. Начальник там пожилая красавица. Она в глубине окошка, за столом. Она весь день не встает из-за стола. Она весь день смотрит в какую-то книгу и изредка даже листает ее.

Но мне к ним никогда не нужно. Я один и мне не требуется хоронить никого. Я всех уже похоронил. Я смело прохожу мимо и ступаю в высокое светлое и пыльное помещение. Здесь все покоит глаз. Верстак. Груды стружки. Желтодревые гробы. Зеленый и пурпурный обивочный бархат. Все покоит глаз. И оттуда уже можно выйти во дворик, который весь зарос свинячей травкой и лебедой. Хорошо там!

Сушится под небом дяди Сережина продукция, источая ароматы смолы. Бродит курица. И дядя Сережа там вышагивает, лучась лицом.

У него лицо лучится. По-видимому, от пота, а может, от пьянства или же от пожилого возраста. Он в очках и в серенькой рубашке. Сутулый, в кирзовых сапогах. Хороший человек дядя Сережа! Спокойно у него. И было бы еще лучше, кабы не рев самолетов от аэродрома, находящегося за кладбищем в непосредственной близости.

— Хорошо тут у вас, дядя Сережа. Спокойно, — говорю я.

— Да. Это так. Вот если б только устранить имеющееся авиагудение. Но это ведь невозможно ввиду прогресса, — печально соглашается дядя Сережа.

И добавляет:

— Правда, говорят, будто бы за чертой города, около нового кладбища строится новый аэродром, чтобы можно было принимать ТУ-154. Эх, скорей бы крепла стройка!

Впрочем, если честно говорить, то и рев не так уж мешает. Он, во-первых, бывает не всегда, а во-вторых — странным образом вплетается рев в остальные кладбищенские звуки: ширканье дяди Сережиного фуганка, чаканье лопаты, бормотание и высокое пение в церкви и надсадный плач безутешных родственников.

Хорошо у дяди Сережи. Я к нему зачистил. Он мне всегда что-нибудь расскажет. У него всегда есть что рассказать.

Вот и сегодня, значит, я к нему после служебного дня завернул и долго и с удовольствием смотрел, как работают его веселые руки. Стружка легко летела из-под рубанка, на руках вздулись синие вены, лицо рабочего покраснело и стало совсем молодым.

А когда он пошабашил и отер с лица пот, я вынул из одного кар-

мана поллитра водки, а из другого — два соленых огурца и головку луку. Дядя Сережа изобразил на своем лице смущение и добавил к столу вынутую из-под верстака краюху хлеба. Мы сели на свежизготовленный гроб и стали выпивать.

Я развивал тему кладбищенской тишины. Дядя Сережа отвечал. Разговор, постепенно разрастаясь, перекинулся на тишину вообще, а также на счастье.

— Что есть счастье? — спросил дядя Сережа. Но я не знал и просил его ответить. Но он тоже не знал, и мы замолчали.

Помолчав, я прислушался к утихающему вечеру. Вечер замер, звуки утихали, вместо звуков появлялись шорохи.

— И совершенно очевидно, что, несмотря ни на что, все вокруг полно абсолютной гармонии, — сказал я.

Дядя Сережа поднял на меня глубокомысленные глаза:

— Вот тут позволь мне с тобой немножко не согласиться.

Я заспорил. Но он стал говорить. Вот эта грустная история, одна из тех грустных историй, которые рассказывает российский человек, выпив сладкой водочки...

— Черт его знает, что за удивительные места встречаются иногда у нас, в Сибири. Прекрасен вид, открывающийся из окна тринадцатизэтажного дома, расположенного в новом микрорайоне. Прекрасна картина, пейзаж прекрасен, прекрасен и доступен взору хотящего его. Громады тринадцатизэтажных домов, убегающих по горизонтали к горизонту, по вертикали — в небеса. Прекрасен. Нет, серьезно. Прекрасно! Прекрасно любоваться прекрасными пейзажами природы пополам с современной жилстройиндустрией.

Там, можно сказать, сплелись в один прекрасный узел различные потребности человека: тринадцатизэтажный дом со всеми удобствами создает небывалый бытовой уют, а окружающий зеленый массив — уют душевный. Радуйся, мой глаз, глядя на море зелени сладостной! Истмой будь охватываемо, тело, возносимое скоростным лифтом на самый тринадцатый этаж! Ура! Вперед! На вахту!

И дядя Сережа, вскочив на гроб, отбил чечетку. От тряски я чуть было не свалился, но мастер утишился, сел и продолжил. — Дороги все в асфальте, а пешеходные — в гравии. Эх, открывающаяся с тринадцатого этажа гениальная хитроумность замыслов! Эх, виртуозность проектировщиков. Бетонные фонтаны с плавной линией струй. Красные песочницы и бетонные громадные детские игрушки, изображающие различных животных: слонов, верблюдов, ослов.

Да что уж там! Это — не главное. Главное — зелень. Да! Да! Зелень. Я не говорю о свежесаживаемых посадках. Об уже подросших и зазеленевших деревьях. Это — посадки. Это — само собой. Они есть везде. А вот — зелень. Это — главное. Самое главное — зеленый массив, плотную подступающий к возведенным культурным домам и прочим

блочным сооружениям...

— Дядя Сережа. Извините, конечно, что я перебиваю вас. Но я хочу сказать, что поражаюсь островам и материкам культуры в вашей речи. Вы ж настоящий поэт в душе и виртуоз слова вдобавок, дядя Сережа.

— Да, я поэт. Я год был советником юстиции. Но попрошу меня не пербивать, ты мне уже об этом говорил.

— ...Лес. Лес — хвойный, березовый, кедровый и прочего непонятного состава. Лес. Милый лес! Ты, дружок, никогда не болел туберкулезом легких? Вот и не надо. Черт его знает, что за прекрасный лес. Но состав его действительно не совсем понятен. По причине спешки на работу или же домой в семью. Не совсем понятен, потому что с земли все как следует не разглядишь, по причине спешки. Не разглядишь. Да. Разве что в выходной? Не разглядишь. Да.

Но воздух. Ты представляешь, какой может быть там прекрасный воздух, если бетонные сооружения вклиниваются не в тундру и не в степь, а в сплошной зеленый массив, смыкающийся с линией горизонта. И окружаемы им. Эх! Но вот именно этот самый зеленый массив и сыграл драматическую, можно даже сказать, зловещую роль сыграл он в жизни изобретателя — слесаря товарища Вергазова...

— А я опять имею вопрос, дядя Сережа.

— Что такое?

— Как это все с тобой произошло?

— Что „все“?

— Ну вот — твоя жизнь. Как ты оказался здесь?

— Во-первых, я оказался там, где мне и надо быть, а во-вторых, я тебя уже просил, чтобы ты не задавал мне лишних вопросов, потому что это не главное.

— А что главное?

— Не знаю, отвяжись. Я прожил много лет и не знаю. Отвяжись.

— Может, мне слетать еще в магазин?

Дядя Сережа задумался.

— Нет, однако. У нас еще малость есть тут. Да заначка. Мне один клиент четвертинку дал.

— Подарил, значит?

— Спешно подарил. Я понадобился и гроб. Не в пять часов, как по квитанции, а в три. Вот он и дал четвертинку. И пять рублей деньгами. Всем хочется спешить, время — деньги...

— ...так вот. Товарищ Вергазов прошел в своей жизни нелегкий путь трудового человека. Он родился в потомственной семье, закончил ФЗУ, отслужил в армии и работал слесарем.

И везде изобретал. Он изобрел тысячи полезных предметов и других мелочей. Он изобретал музыкальные ночные горшки, инкубаторы для воробьев, стулья и велосипеды. А за одно свое замечательное изо-

бретение он даже сидел в сумасшедшем доме. Это были часы в форме пятиконечной звезды, певшие гимны, игравшие, показывавшие время в любом уголке нашей Родины, читавшие цитаты из классиков и говорящие, что будет завтра. Говорящие часы он предлагал поставить в самом высоком месте Союза, где-нибудь на горе, чтобы их всем было видно или хотя бы слышно.

Тысячи изобретений! Вот, например, поднимают цены на коньяк. И что же делают все? Все огорчаются. А Вергазов не такой. Он не будет вам огорчаться или плакать. Он сразу же изобретает выгонку коньяку из болгарского вина „Гамза” в виде чачи, которая потом закапывается в землю на балконе сроком на три года, после чего получается первосортнейший напиток. Правда, у Вергазова он пролежит там значительно больше, чем пять лет. Если только кто-нибудь не догадается выкопать.

— Это почему?

— А вот сейчас услышишь.

И вот этот Вергазов прошел свой трудовой путь и очутился наверху, на тринадцатом этаже, даром что простой слесарь. Грех не позавидовать этому человеку, но надо отметить, что он в своей жизни довольно много страдал.

Ему было еще совсем немного лет и он шел по улице. И нес на себе относительные знаки своего благополучия: дорогой плащ, хорошие штаны и два рубля денег в кармане.

А она шла навстречу. Юная. Женщина куда-то несла свое прекрасное тело, скрытое под платьями, юбками и оборками.

Вергазов посмотрел на женщину, как на существо, и сказал правду:

— Вы очень вкусная.

— Да?! — засмеялась женщина девятнадцати лет. — А вы чем занимаетесь, молодой человек?

— Я слесарь, — сказал Вергазов.

— Да? — женщина надула губки. — А вы не скульптор?

— Я не скульптор по профессии, но если надо, то я могу. Я ваяю в гипсе. Идемте!

И он повел ее на берег к пивной, где стояла изваянная им в гипсе статуя неизвестного оленя.

Потом они были в пивной. В пивной, вечером, где за столиками, тихо переговариваясь под жужжание венитлятора, сидело, пило, ело размножающееся человечество. В этот же день они поженились.

— Тут и начало страданий. Верно?

— Верно. Там же и начались. Когда началась семейная жизнь. Видишь ли, семейная жизнь изобилует такими взлетами и падениями, в которых не разобраться никому, кроме тех, кто спит в одной постели.

А у ней родитель оказался начальник. И он очень не взлюбил Вергазова. А почему — неизвестно. Это даже неправильно, потому что, как я заметил, начальники часто любят принимать в семью рабочих пареньков за крепость их и умение жить в жизни.

Но этот не взлюбил. И все поглядывал на Вергазова. И дождался, когда тот поколотил свою жену по имени Люда, поскольку она обкарыбала ему длинными ногтями всю рожу. Семья!

Тогда начальник сказал:

— Убирайся отсюда, а не то я тебя сгною в тюрьме, подлец. Ишь ты — распустил кулаки. Я тебя сгною в тюрьме, если ты еще хоть раз мне попадешься на глаза.

Начальник палатки по приему макулатуры от населения.

И несомненно сгноил, если бы Вергазов ему хоть раз еще попался. Но он не попался, так как вышел из дому, оставив записку следующего содержания:

„В припадке великодушия я решил покончить жизнь самоубийством. Ищите мое тело под мостом. Или не ищите.

Ваш Вергазов.”

Но все вышло немножко не так, как планировал изобретатель. Под мостом Вергазов не оказался, а в тюрьму все-таки попал, но совершенно при других обстоятельствах.

Видишь ли, они жили около тюрьмы, и когда Вергазов вышел из дому топиться, то случайно попал под куда-то вечно спешащий „черный ворон”.

Крик, шум. „Ворон” замедлил ход, и окровавленного Вергазова внесли в тюрьму с целью оказать первую помощь.

Он потом говорил, что почти ничего там не запомнил: какие-то стриженные лица, шапки, лошади, овес, серые стены и пахло кисленьким. Он там побыл, а потом его отправили в госпиталь, где и лежал он двадцать четыре дня со сломанной ключицей.

— Ну, а жена?

— Что жена? Она рыдала, прочитав записку. Билась головой об стену и прокляла родителя, который был у ней один, а матери не было. Создалась путаница. Пришел мильтон и что-то плел про тюрьму и госпиталь, чего никак нельзя было понять. Были рыдания. Но зато, когда все разрешилось наилучшим образом, то их любовь засияла ровным и неугасимым светом подобно лампаде. Они как бы заново родились на свет, перестали драться и царапаться. А Вергазов еще стал значительно веселее и меньше изобретал. А поскольку родителя Людочка прокляла, то и начальник присмирел. Он присмирел, и стал задумываться над тем, что он будет делать, когда постареет.

— Это они тогда и попали в тринадцатизажку?

— Нет. Не тогда. А вообще-то тогда. Как-то они где-то здесь получили квартиру, а потом — хоп — обменяли, что ли. В общем, я не знаю.

Это — неважно. Это — не главное.

Они поселились в этой квартирке на тринадцатом этаже. Вергазов получал в общей сложности 280 рублей в месяц. И она тоже получала. И они любили друг друга.

А квартирка. Вот так квартирка. Ты представляешь, Вергазов отделал-то ее, отделал как надо. И полы были паркетные, и ванна в кафеле. А кругом все полочки да шкафчики. Не могу... Горестно мне. Жалко. Горестно мне, жалко, и нету сил. Как вспомню, что такая квартирка пропала у людей. И сами люди пропали.

И дядя Сережа чуть было не залился слезами, но сообразил, что я могу принять его за пьяного, почему и сдержался.

— А почему „пропала” и „пропали”? — допытывался я. — Ведь именно тут, очевидно, и начинается абсолютная гармония. Ведь так? Или что вы имели в виду?

— Да. Гармония. Вот слушай, какая дальше у них вышла гармония. 280 рублей в месяц. И она тоже зарабатывала. Любовь. Комната 18 метров. Кухня. Ванна. Туалет. Тринадцатый этаж. Очень также слесарь любил есть блины.

А то ведь и как не полюбить их есть? Они — вкусные. Славная вещь — блины. Их выдумали старинные русские люди, которых сейчас часто поминают. Блины делаются так: мука, вода, соль, молоко, куриное яйцо, гусиное перо, сковорода, огонь, масло. Все, вроде бы, просто. Ан — нет. Блин — это символ, символизирующий солнце в душе. Впрочем, тут я что-то запутался. Понимаешь, иногда мне кажется, что он полюбил есть блины до своего последнего изобретения, а иногда, что после. И никак не могу я вспомнить факт точно. Но и это — не важно.

В общем, были блины или же их еще не было, но Вергазов любил глядеть с балкона на окружающий пейзаж. Глядя на окружавший его зеленый массив, Вергазов испытывал те же самые чувства, о которых я толковал тебе в начале своего рассказа: радость и умиление от количества кислорода, испускаемого массивом, и от количества углекислоты массивом поглощаемой. Он любовным взглядом мерял бескрайние просторы массива вдоль и поперек, но постепенно его радость померкла и сменилась тихим озлоблением.

А дело в том, что весь зеленый массив был ровен до горизонта, но ровен не идеально. Было там всего лишь одно дерево, которое нарушило абсолют идеальности. Это дерево немного высывалось из зеленого массива, и об него царапался взгляд т.Вергазова. Это дерево высывалось, и Вергазов ничего не мог с собой поделать.

Поэтому как-то в воскресенье, нарушая закон об охране природы, он взял под пальто топор и отправился искать дерево. Он искал его весь день, но так и не нашел, ибо с земли все деревья в лесу одинаковые.

А вернувшись домой, опять вышел на балкон и даже заскрипел зубами: проклятое дерево торчало, нарушая абсолют идеальности, и царапало взор хотящегоо счастья.

И вот тогда, старательно не смотря в окно, т.Вергазов стал изобретать свое последнее изобретение — невиданную ранее никем машину, орудие из консервных банок, рубленных гвоздей и электрического тока.

И он изобрел, и он построил эту чудесную машину, и в один прекрасный день он убил ею прямо с балкона дерево, и в один прекрасный день ровен стал зеленый массив окончательно. И в один прекрасный день ничто более не тревожило взгляд слесаря.

Тут дядя Сережа умолк и погрузился в воспоминания, а я не стал его тревожить, опасаясь замутить светлое русло дяди Сережиной мысли и речи, близившейся, как видно, к концу.

— Да. Жить бы ему да жить. Ровен стал зеленый массив, и ровно стало в душе т.Вергазова. Он теперь все больше молча смотрел на преобразенную природу и в телевизор. И поедал блины.

И вот однажды он устроился на тринадцатом этаже тринадцатизэтажного дома на подоконнике раскрытого окна своей квартиры. Он ел блины. Он макал блины в масло. Он сидел в майке на подоконнике и ел блины. Жена пекла на кухне блины. Он трубочкой свернет блин и макает. Жена пекла на кухне блины. У ней тоже был мир в душе. Она пела и пекла на кухне блины. А слесарь ел блины, общаясь с женой посредством тарелки, на которую жена накладывала новоиспеченные блины. Бросала. С пылу, с жару. Да, да. Славные блины. Эх, жить бы ему да жить. Ведь как прекрасна жизнь. Ведь как прекрасна, особенно на тринадцатом этаже, где в ванну по желанию поступает горячая и холодная вода, а паркет и пластик делают приятное босым ногам. О, как прекрасно было жить в голубой тени телевизора. О! Милый, бывший т.Вергазов.

Дядя Сережа пришел в неопишемое волнение. Волосы его вздыбились, образовав забор на плешивой голове, глаза метали молнии.

— Что? Что? — торопил я.

— А вот то, что он ел блины. Он молча поедал блины и смотрел из окна на преобразенную природу. И тут вошла его жинка. Она несла тарелку. Она сияла и лучилась. Она несла тарелку и стала смотреть на Вергазова.

Она смотрела на него. А он на нее. Они любили друг друга. Он обернулся, посмотрел на нее и сказал:

— Дай-ка мне, друг Люда, еще один блинок.

Она же побледнела и говорит:

— Да ешь хоть все, ведь много же.

Но Вергазов не удостоил ее ответом. Он взял в зубы блин и отвернулся опять к зеленому массиву. Жена же подошла ближе и вдруг

закричала:

— А-а-а!!!

А Вергазов, пожеывая блин, как-то откинулся назад и стал падать вниз.

— О-о-о!!! На кого... Куда? — возопила жена.

И то ли бросилась вслед за ним, то ли с самого начала была с ним вместе. Не знаю, точно не знаю. Да это и не важно. Факт тот, что они оба упали с тринадцатого этажа вниз и разбились до состояния мешков с костями. Их видели все.

Тут дядя Сережа закончил свой рассказ. И сник. Он налил дрожащей рукой водки, стер набежавшую слезу и выпил. А мне не налил. Я налил себе сам. Выпил и спрашиваю:

— Дядя Сережа, так это она сама что ли его столкнула?

Дядя Сережа встал. Он походил вокруг гробов.

— Ах, милый мой! Какое это имеет значение? Разве это важно, кто кого куда столкнул или нет? Какое это имеет значение? Когда я говорю об отсутствии абсолютной гармонии, то какое значение имеют все эти детали? — сказал он.

— Будь выше суетного значения деталей. Выше. Выше. Ура! Вперед! На вахту! — всхлипывая повторял дядя Сережа.

Испытывая сильное смущение, я обнял эмоционального гробовщика и как можно мягче заметил:

— Успокойтесь, дядя Сережа. Ведь это происходило по-видимому очень давно? И, кстати, не отец ли вы Людмилочки, — бывший начальник макулатурной палатки?

— Конечно, давно. Давно-о. И какой я к черту отец? Какой я к черту начальник? Мне это клиент один рассказал. И было это давно.

— Так отчего ж тогда плакать?

— А плачу я от того, что это — вечно. Это — вечно, — дико вскрикнул мастер. — И когда я думаю, что это — вечно, то мне хочется убить себя стамеской.

— Ну, успокойтесь. Я понимаю вас, — сказал я, — успокойтесь, успокойтесь.

Он и успокоился.

И мы вышли на улицу. Уже было темно, потому что наступила ночь. Да. Была непроглядная темь, и лишь маленькая звездочка торчала в небе над самой нашей головой. Она могла упасть. Мы испугались и разошлись по домам.

А когда я в следующий раз пошел навестить дядю Сережу, то его не оказалось на рабочем месте, а гробы изготовлялись каким-то молодым пареньком с прической а ля битл и в расклешенных брюках с цепями по низу. Из транзистора, принадлежавшего очевидно молодому человеку, несло шустрое пение звонкой дамы, сопровождаемой грохотом электрогитар.

Я подумал было, что дядя Сережа убил себя стамеской, но молодой человек объяснил, что его зовут Степаном, что он ученик столяра, а сам мастер отбывает наказание сроком в 15 суток за злоупотребление спиртными напитками и мелкое хулиганство в каком-то общественном месте.

— Мой милый, да, да! — выкрикнула дама.

— От сумы да от тюрьмы — никуда не деться. И от кладбища. Такова сз ля ви, — добавил Степан и захохотал.

И я пошел домой. Через кладбище №1. Через кресты и склепы, через памятники и могилы, через церковь.

Церковь. На паперти отпевали. Был гроб. Батюшка махал кадилом. Пел. Подпевали нищие и просто любители. Рыдали и плакали родственники. Больно смотреть на такую картину? Да, больно. Ах, как больно. Очень больно, но что же делать — можно и не смотреть.

СИЛА ПЕЧАТНОГО СЛОВА

Один поэт сосредоточенно ехал в автобусе на публичное выступление перед народом. Поэт очень хотел сосредоточиться, чтобы выступать перед народом правильно: взволнованно и искренно. Но ему очень трудно стало сосредоточиться, потому что у него над ухом вдруг раздался пошловатенький, сальный и даже, можно сказать, грязный разговорчик, который вели два шустрых молодых человека и ловкая бабушка.

Мерзости, разнообразные по тематике и калибру, вливались в ухо поэта, как когда Гамлетова отца отравил его же собственный братец, вливая цикуту.

Поэт очень хотел сосредоточиться. Поэт закрыл глаза и думал о том, что за выступление он получит семь рублей сорок копеек, а если примут к концу года членом Союза Писателей, то будет получать за выступление далеко и не семь рублей сорок копеек, а целых пятнадцать рублей ноль-ноль копеек. И он соображал, что к концу года его в Союз непременно пустят, потому как книжка стихов „Красное солнце” вышла в прошлом году, а книжка поэм „Наша луна” непременно выйдет в этом году. Если, конечно, не наклеет ему в карман какой-нибудь московский сукин сын.

— О, эти москвичи! — хотел прошептать поэт. — У них там все свои. Совсем не дают ходу провинциалам, несмотря на то, что мы ведь ближе к русской земле! Какие бессовестные! Ездят в собственных машинах по асфальту!

Так хотел прошептать поэт, но плавный ход его мыслей был сбит неприятнейшим, отвратительнейшим, дребезжащим смехом молодых людей и веселыми всхлипываниями бабушки. Веселье явилось реакцией на последнюю фразу бабушки:

— Эх, сынки! Да пускай *этта* будет хоть овечья, лишь бы душа была человечья!

— Ну, ты, бабка, даешь, курва! — ржали молодые люди. — Ты, видать, в царски годы в бардаке работала!..

У поэта кровь подступила к голове. Он резко развернулся и сделал нервное замечание:

— А ну — тихо! Вы не одни едете в автобусе! Не мешайте!

— Сердитый какой дядька! — с ужасом сказала бабушка. — Сердитый! Важный какой! Прости Господи!

И вьюном скользнула на заднюю площадку, не желая участвовать в надвигающихся грозных событиях.

Пожалуй и правильно сделала. Потому что молодые люди с наслаждением засверкали фиксами.

— Вася, молчи! Ты слышал, что тебе сказал товарищ? — говорит Коля Васе.

— Не штак, Колян! — отвечает Вася Коле. — Я уже молчу, Колян! Да только я могу и еще кой-кому хавальник завесить!

И при подобных словах из статьи уголовного кодекса он еще и глядит на поэта в упор.

А у того в голову вместе с кровью поступило столько много раздражения, что он забыл всякую безопасность и завопил:

— Подонки! Фашисты! Вот из таких, как вы, Гитлер формировал свои легионы!

Коля и Вася сосредоточенно смотрели на расхोдившегося сочинителя, а потом занесли два чугунные кулака. Но им опускать кулаки не дали, ибо многие пассажиры стали кричать следующий текст:

— Перестаньте скандалить! Перестаньте скандалить!

— Ну, погоди, заяц! Вот щас со скотовозки выйдем, так там и посчитаемся, — посулились, тяжело дыша, Коля с Васей.

А пассажиры опять:

— Да перестаньте же скандалить! Тихо людям с работы ехать не дают! Действительно скотовозку устраивают из „Икаруса”, хулиганы!

А кто хулиганы — уже и непонятно.

И вообще — многое непонятно. Чего, например, так-то уж было орать-то? И тому, и тем, и этим? А?

Ну, в общем дальше случилась поэтова остановка, он и полетел, а хулиганы, естественно, за ним.

— Стой, падла! — отвратительно кричали они.

Но поэт стоять не стал, а наоборот — сразу прибежал на летнюю эстраду парка культуры и отдыха им. Семашко, где его уже ждали.

Поэт как увидел, что его уже ждут, то он сразу повеселел и сразу выпил два стакана простой воды. После чего сказал:

— Дорогие друзья! Слушатели и слушательницы! Молодежь! Вы собрались здесь ради одной нашей общей страсти, ради — Литературы! Что ж, пусть зазвучат стихи!

И стихи зазвучали, усиленные парковыми громкоговорителями:

Я плавниками принимаю

К Российской искренней земле...

И дальше. До конца. Довольно длинное стихотворение про Добро, Зло и Родину. Что мы все должны ежесекундно делать Добро. А кто если ежесекундно не делает Добро, то он, значит, тем самым уже

делает Зло. И себе и Родине. Родине в первую очередь, а себе — во вторую. Или наоборот — я сейчас уже точно-то уж и не упомяну, что-то... В заключение поэт объявил себя крестоносцем Добра и всех вместе звал за собой в поход за Добро, обещая крупные и интересные сражения.

А наступал вечер. И лепестки парковых фонарей налились молочным светом, и в темных кустах шептались, и на синем небе выпала звездная мелочь.

Поэт спокойно выслушал рукоплескания и посмотрел вниз. Впритык к эстраде стояли они, народ. Парни, девушки, мужики, бабы, малы ребята.

Там же находились и преследователи его, Коля с Васей. Не стану врать, что они вытирали глаза платочком, но они стояли смирно, с лицами сосредоточенными и одухотворенными. Они стояли, разинув рты, и было видно, что бить поэта сегодня уже не станут.

Убедившись еще раз в силе печатного слова, поэт окончательно успокоился, прокашлялся, вытер платком мокрый лоб и с блеском закончил свое выступление.

ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА

Тут недавно в Швеции опять Нобелевские премии давали за картины, и не явился один лауреат, фамилию которого я называть не стану, а звали его — Витя.

Его они очень долго ждали, держа доллары в руках, но он все равно не явился. Ни туда, ни сюда, ни оттуда, ни отсюда — он никуда больше не явился. И никто про него никогда ничего уже больше ни от кого не слышал, потому что он, несмотря на знатность, был холост и одинок, весь себя отдавая лишь своей замечательной работе.

А случилось с ним вот что. Будучи юношей он жил в Сибири, где и занимался борьбой дзю-до и учебой в художественном училище.

И вот однажды вечером он идет домой на квартирку по висячему мосту через речку Качу, а его на мосту встречает бедно одетый хулиган. А он и сам был одет достаточно скромно, в кирзовые сапоги.

Хулиган злобно посмотрел на бедного юношу, почти подростка, и грубо приказал, указывая на его старенький этюдник:

— А ну, покажь, что у тебя в сундуке, пфимпф!

Витя же ему совершенно ничего не ответил. Он в эти секунды глядел ошеломленный на одинокую Полярную звезду, указывающую с неба путь заблудшему человечеству. Какое-то озарение охватило внутреннюю душу будущего мастера, и он прошептал сам себе:

— Полярная звезда!..

— Покажь портфель, падла-журица! — наступал на него хулиган. Но юноша все не слышал: невыразимым томлением и сладкой болью была наполнена его внутренняя душа. Неземным томлением и такой болью, которые имеют право наполнять лишь душу человека, который рано или поздно получит Нобелевскую премию. Так что он хулигану и опять не ответил.

А хулиган тогда зашипел по змеиному и стал кружить вокруг художника. А художник молчал и его не видел.

— Ну, я тебя щас режну! Ну, я тебя щас свисну! — вскричал тогда хулиган и занес над будущим лауреатом невооруженный, но пудовый кулак. И он бы выбил из головы мастера любую Полярную звезду, но за миллионную долю секунды до соприкосновения его кулака с витинными мозгами Витя очнулся и хотел бы крикнуть, что нельзя! Нельзя бить! Нельзя убивать! Нельзя! Нельзя! Нельзя! — хотел бы крикнуть он. Но увы! Тело нас не спрашивает. Наше тело само принимает реше-

ния. Витя за миллионную долю секунды уклонился от удара и той же головой, с теми же думающими мозгами, страшно ткнул хулигана в горло.

Отчего хулиган упал, дернулся и затих, мертво глядя на все ту же Полярную звезду. Но ему не было дано увидеть Полярную звезду и ее неземной свет. Он упал, дернулся и затих, потому что он был мертв.

Или убит. Я не знаю. Не знал и художник. Он посмотрел на тело бывшего хулигана. Он втянул голову в плечи, и он тихо ушел прочь, домой, на квартирку, в уголок, который он снимал у бабушки-татарки. Среди саманных домиков и грязи, на берегу вонючей речки Качи.

Далеко полночь он еще рисовал, а утром следующего дня проснулся внешне спокойным человеком и никогда справок о трагедии на висячем мосту не наводил. А и чего их наводить? Таких диких случаев в те далекие годы было очень много, а слухов — и того больше. Он проснулся спокойным человеком.

И не берусь прямо утверждать, но вроде бы с того-то дня и началось его головокружительное восхождение. Уж ясно, конечно, что не сразу зримо с того дня. Но с отличием было закончено художественное училище, но тут началась Академия Художеств, но тут потом дипломы пошли, и папки красные, и отличия, и третьи места, и вторые места, и первые места.

Вот. А он уже немного стал старенький и как-то раз вечером включил транзисторный приемник и слышит — награжден-де премией Нобеля художник Витя из Советского Союза. Он тогда, конечно, очень обрадовался и вышел на балкон своей квартиры в одной московской улице. Вышел освежиться, чтобы радость его улеглась или приняла приличное направление.

— Все-таки и я кое-чего достиг в этой жизни, — солидно сказал он сам себе, и тут ему стало чего-то страшно. И тоскливо, и холодно, стало, несмотря на июльское время. И он опять поднял голову, и опять увидел эту Полярную звезду. И опять Полярная звезда в упор и горько глядела на свою заблудшую Землю. И опять все корчилось и болело.

— Что? Что? — шептал художник. — Что? Что? — шепотом повторял он, пятясь и спотыкаясь.

— Что? Что? — все бормотал он. А потом уж и не бормотал. Потом он уже молча и тихо сел в самолет и полетел из Москвы в сторону, совершенно противоположную Швеции, а именно — в Сибирь.

Молча и тихо сошел он по трапу, и тихо, и молча, и плача он быстро шел туда, к висячему мосту. Он шел плача, и слезы плавили ему глаза. И глаза поэтому не могли видеть ничего: ни новостроек, которые вылезли из-под земли, как грибы; ни лиц, озаренных радостью нашей эпохи; ни самой радости нашей эпохи не видели глаза плачущего человека.

Но потом слезы кончились, и он увидел, что висячего моста уже нет, а на его месте построен новый мост, каменный.

Слезы кончились. Художник стал сух. Он немного постоял. Потом снял свою хорошую одежду. Нагой, он связал ее в узел и утопил. Нагой, он тихо ступил в мутные струи вонючей речки. Нагой, он стоял дрожа и сказал слово. И слово это было — о, пожалуйста, не смейтесь! — слово это было „пфимпф“.

— Пфимпф, — тихо сказал художник и медленно поплыл.

Его (разумеется, совершенно случайно) никто не видел, почему потом и не искали. Обезображенный труп его нашли потом туруханские рыбаки, но какое им было до него дело?

А если вы спросите, откуда я сам тогда все это знаю, то я вам на это ничего не отвечу. Я вам другое скажу: никто ничего не знает. Не знает, кто мертв, кто жив, а кто еще не родился. Никто ничего не знает. Всех нас надо простить. Я не шучу. Я еще не сошел с ума.

ТИХОХОДНАЯ БАРКА "НАДЕЖДА"

Раз два мужика — Тит и Влас — решили начать новую жизнь. Они решили сдать бутылки и приобрести себе на эти деньги чего-нибудь полезного.

Вот они и принесли бутылки в трех сумках, а на дверях висит бумага: „Ушла. Скоро буду. Дуся.”

— Может, и мы пойдем куда-нибудь еще? — засуетился нетерпеливый Тит.

А рассудительный Влас изрек:

— Сядь и не пурхайся! Куда ни пойдешь — везде все одно и то же.

Вот они и сели на ступеньку у дверей полуподвального помещения на улице Дубровского. Сидят и ждут с видом на реку Енисей.

А только тут подходит к полуподвальному помещению еще один человек, интеллигентный, в широком галстуке. У него не хватало каких-то там всего несчастных двадцати копеек, вот он и принес завернутые в газету 2 бутылки емкостью по 0,5 литра каждая.

Однако тоже наткнулся на „Ушла. Скоро буду. Дуся”. А так как тепераментом и интеллектом интеллигентный человек превосходил Тита и Власа вместе взятых, то он тогда нецензурно выругался, швырнул пакет под дверь и пошел достать мелочи в другое место.

Вот на этом-то пакете и остановилось зрение Тита. Тит и говорит Власу:

— Смотри-ка, чё там?

На что рассудительный Влас отвечает:

— Смотри-ка! Вон видишь — идет по Енисею тихоходная барка „Надежда”, на которой мы с тобой оба работали.

Но Тит его не послушал. Он коршуном кинулся к свертку и обнаружил, что бутылки интеллигентного человека уже обе разбитые.

— Об чем ты и сам бы мог догадаться, — сказал Титу рассудительный Влас. И прикрикнул: — А ну-ка не мшишь! Смотри-ка лучше на Енисей! Видишь — она уже почти прошла, тихоходная барка „Надежда”, на которой мы с тобой оба возили дрова.

Тит воскликнул в ответ:

— Ах, зачем же я буду смотреть на эту падлу-барку и на гада-капитана товарища Кривицкого?

Влас сухо поморщился, а Тит отвел глаза и вздохнул:

— Не смотри на меня, как Ермак на буржуазию, Влас! Все му све-

ту известна твоя доброта, и лишь потому я не смотрю на тебя, как буржуазия на Ермака, Влас! Подумай, что ты делаешь, Влас!? Ведь ты лбуешься ничтожной баркой „Надежда“, Влас! Ничтожной баркой, спутавшей нам обоим жизнь, Влас!

Так сказал Тит, и Влас был вынужден с ним согласиться.

По инерции они оба все еще глядели на воду, а потом Тит пред-
ложил:

— А не прочитать ли нам ту газету, в которой дурак нес бутылки? Может, мы хоть там найдем что-либо полезное или поучительное? А тем временем и Дуська придет.

И они оба взялись читать газету. И вот что из этого вышло.

Они оба читали длинную газету. Читали, читали, читали... Тит со многим соглашался и кивал головой. Влас тоже соглашался, но головой не кивал, потому что у него на шее вскочил фурункул.

То есть, чтение газеты доставило им обоим много радости. Но вот что из этого вышло.

— А все-таки хорошо пишут, — сказал Тит, отбрасывая газету. Мы бы с тобой так никогда не смогли написать.

Наступило гнетущее молчание.

— Как... как? Что ты сказал? Чтобы мы с тобой не смогли так написать? — только и успел вымолвить пораженный Влас. — Чтобы мы с тобой! Орлы! Орлы, которые не боятся никого и ничего на свете! Мы бы с тобой так никогда не смогли написать?

Только и успел вымолвить пораженный Влас, как слезы крупными гроздьями упали из его круглых глаз на землю.

Тит окаменел. А Влас продолжал, скрывая рыдание:

— Теперь я понимаю, почему нас списали с тихоходной барки „Надежда“! Вовсе не потому, что мы оба — бичи! Вовсе не потому! А потому, что ты — сука, а не матрос! Ты согнулся! Ты стал трус! А я остался орел! А ты согнулся!

Тут Тит не выдержал. Подскочил, и они оба стали драться, ката-
ясь в пыли по летней сибирской почве. В непосредственной близости от великой реки Енисей. Осуждаемые взглядами других граждан, по-
степенно скопившихся у дверей полуподвального помещения в чайнии
сдачи пустой посуды.

Так печально закончилось чтение длинной газетной статьи двумя
бывшими матросами. А ведь могло оно закончиться совсем по-иному —
более светло, более радостно. Но этому помешали вышеописанные зло-
вредные обстоятельства!

А какую они статью читали — я и не знаю, я и забыл. Да и не это
важно.

РАЙСКАЯ ЖИЗНЬ И ВЕЧНОЕ БЛАЖЕНСТВО

Шел я как-то тихой красноярской улицей и вдруг услышал чудное пенье. Чудный пресветлый голосок кому-то райскую жизнь обещал и вечное блаженство.

А мне солнцем сильно голову напекло, вот я и присел в тенечке отдохнуть. Присел и совершеннейшим образом заслушался. Певунья соловей подпевал, тополиный листок источал клейкий сок, а по моей руке ползла, готовясь взлететь, божья коровка.

Закончилось чудное пенье, улетела божья коровка, а из высокого окошка деревянного дома высунулась сильно накрашенная куколка.

— Уж вы так славно поете, певунья моя, — льстиво сказал я. — Прямо исключительно с душой поете. Прямо, как Каруза!

— Правда?! Неужели это правда!? — куколка забила в ладоши. — Недаром мне многие говорили, что я вылитая эстрадная певица Лариса Мондрус.

— Успокойтесь! Мондрус давно уехала в Израиль, радость моя. Она там нынче работает в ночных кабаках, о чем мы можем прочесть в газете „Известия”. А вы поете, как Каруза, любовь моя. Вам сходу надо на большую сцену.

— А разве вы не поможете мне туда попасть? Разве вы меня теперь туда не устроите?

— Нет, ангел. На сегодняшний день у меня нету связей с большой сценой. На сегодняшний день у меня совершенно нету связей с ней.

— Но ведь вы — антрепренер, — не сдавалась певунья. — Ведь вы, антрепренеры, все можете, если, конечно, захотите.

И она кокетливо повела выщипанной бровью, а я ей сказал, опустив голову:

— К сожалению, я всего лишь скромный товаровед магазина №15. Могу вас туда устроить сторожихой с последующим обучением на курсах продавцов продовольственных товаров. За все время обучения выплачивается стипендия до сорока рублей в месяц.

Певунья залилась слезами.

— Ах, не надо! Ах, продавщица продовольственных товаров я и сейчас есть! Ах, когда же придет этот... как его антрепренер?! Придет и введет меня в мир искусства!

И она всхлипывала, а я стоял под окошком и бормотал:

— Ждите, ждите! Пойте, пойте!

И она твердила сквозь слезы:

— Жду, жду! Пою, пою!

И соловей, глядя острым глазом, чирикал:

— Жьду, жьди! Пьой, пьой!

И не соловей, а воробей — вот он кто оказался при ближайшем рассмотрении. Я пустил в него за это мелким камнем, но не попал и отправился восвояси.

Напоследок я послал певунье воздушный поцелуй, а она мне не ответила, скотина. Ах, стало быть не мне, не мне обещал райскую жизнь и вечное блаженство ее чудный пресветлый голосок.

ПОД МЛЕЧНЫМ ПУТЕМ ПОСРЕДИ ПЛАНЕТЫ

Из письма к институтскому другу

А еще я тебе скажу, дорогой Сашок, что в нашем дорогом героическом многоквартирном доме, откуда ты маханул с распределения, как фрайер, а я остался, как якобы герой, то там в этом доме живет громадное множество хороших людей, которых вовсе нет нужды перечислять поименно, пофамильно, согласно профессиям. Потому что ты их во-первых всех как облупленных знаешь, а во-вторых потому, что ты открой любую газету, и там они все уже есть под рубрикой „простые люди“, то есть, прости, „простые труженики“. Кто варит сталь, кто варит борщ, кто тачает сапоги, а некоторые даже, как твой покорный слуга, укрепляют завоевания научно-технической революции и двигают ее вглубь до самого крайнего бесконечного предела, сидя за письменным столом своей шлакоблочной конторы (построили нам, таки, новое здание).

Потому что да я ж и сам хват! Достиг, как ты знаешь, громадных успехов. И не важно, каких! Всем доволен, все имею, с той женой развелся, а вот только нету у меня телефона, как будто телефон уж это такая нематериалистическая вещь, чистый продукт идеализма и экзистенциализма, что уж никак его невозможно ухватить за провод чистой рукой, как ни пытайся и к кому ни ходи.

Вот и почему — ты понимаешь, Сашок, — тут настает вечер, а электрического света нету, вот почему я и злюсь, бегая по своим богатым (от слова Бог) комнатам в темноте и безвестности. Так-то бы ПО УМУ позвонить куда надо да кого-нибудь налаять. Глядишь, и засияет освещение. А тут — томись, и, как поется в народной песне, — ни помыться, ни сварить! На календаре числа не видно, на часах — часов. Да куда ж это годится, Сашок?!

В величайшем р-раздражении я выскочил на темную лестницу и аукнулся с какой-то прошмыгивающей мимо меня фигурой, пришедшей в наш светлый мир из Гоголя.

— Здравствуйте-здравствуйте, — ответила фигура-хря, оказавшаяся, как ты сам понимаешь, женой хорошо тебе известного Макара Сирыхча.

— Ох, и не узнал я вас, Фекла Евлампьевна, богатой вам быть, — сказал я.

Дамочка захихикала, но я ей тут же и говорю:

— Насколько я информирован, дорогая, у вас ведь проведен телефон. Так скажите вы, прелесть, Макар Сиropyч еще не звонил на счет света?

Как-то ее это телефонное напоминание насторожило.

— А чего раззванивать-то, — сурово отвечает мне она. — Чинят — значит починят. Дня им не хватило, оболтусам.

А я-то тут и сообразил, что не далее, как третьего дня я, находясь в веселом состоянии духа, кричал, что существуют еще у нас отдельные граждане, которые под себя гребут, и что они себе проводят вне очереди телефоны.

Ладно. Я тогда, Сашок, вышел на улицу и замер.

Потому что, понимаешь, Сашок, больно было глазу. Ибо, дорогой, близ нашего многоквартирного дома простые рабочие люди, сибирские парни, развели громаднейший костер и что-то там такое чинили и копали, похожие на статуи, эти простые обветренные рабочие суровые парни в простых брезентовых робах и того же материала рукавицах.

Трещали доски, обильно политые соляжкой, летели искры. Грубыми мужественными голосами перекликались романтики. И мне, человеку, получающему 240 рублей, мне, честное слово, стало стыдно, что я стою посреди их героизма в простых, домашнего вида матерчатых тапках. Я повел, отец, зазябшими плечами и подумал, что где-то мы что-то как-то проглядели в самих себе, старик, в суе жизни покрылись бытовым жирком, лицо свое теряем в погоне за материальными ценностями. Я опустил голову и от стыда хотел было идти восвояси, чтобы в темноте и одиночестве продумать свои очищающие мысли, систематизировать их, вырастить древо познания и его укрепить. Но тут... Но тут и мне самому представилась редкая в нынешнее время возможность проявить себя.

Потому что один из героев, выговаривая различные русские слова с украинским акцентом, отшвырнул в сторону какую-то блестящую в свете костра и лунном стеклянную бутылку (как у Чехова в „Чайке”), а она по ошибке попала не на плотину, а в лоб его зазевавшемуся напарнику, который, этого не ожидая, рухнул, как подкошенный сноп, и упал прямо в костер, взметнув своим падением мириады алых искр, взлетевших к черному небу с мириадом белых звезд, составляющих Млечный Путь. Сильно запахло паленым. Я рванулся вперед и, потеряв один тапок, сам того не ожидая, смог помочь героям, то есть смог помочь одному герою излечь другого из пожара.

При этом мы все трое, как ты понимаешь, опять упали в костер, но мы потом встали и были зато прекрасно освещены его затухающим пламенем.

И вот мы встали на четвереньках, прекрасно освещенные затуха-

ющим алым пламенем, мы, герои, посреди планеты, под Млечным Путем, составляя строгую и торжественную монументальную трехфигурную композицию.

Сашок! Я тебя прошу! Ты нынче стал молодой писатель, Сашок, опиши скорей нас на листах своих газет! Сашок, удели нам свои многочисленные страницы. А может, если ты заодно стал и художник, то напиши нас на холсте маслом! А если ты, вдобавок, еще и не чужд Музе музыки, то сочини про нас рок-оперу „Бетонщик—суперзвезда”.

Ибо мы ХОЧЕМ, Сашок, и имеем полное право вписаться навечно в грозовой пейзаж нашего времени. Мы, простые герои, озаряемые светом горящего дерева, инициируемого соляркой. Мы, под Млечным Путем, посреди планеты.

Ну, а в остальном у меня все идет нормально. Недавно приступили к отсыпке котлована. Там мной было предложено одно интересное инженерное решение. Вот его суть...

ДВА СУШЕНЫЕ ПАЛЬЦА ИЗ ПЯТИ БЫВШИХ

Дядя Вася Фетисов уже несколько дней как работал по срочному заказу, а когда пришел отдохнуть домой, то увидел, что родная супруга выставила его личные вещи на улицу и велит ему, старшему Фетисову, убираться навсегда.

— Это ее научила теща. Вон она, сука, торчит в окне, а кто рядом с ней, уса́тый, это я не знаю, — сказал дядя Вася.

— А это будет вместо тебя новый твоей Маньки претендент, — сказал случившийся рядом сосед Фетисова по фамилии Шоркин, рабочий с комбайнового завода, и позволил отдать себе выставленные фетисовские личные вещи на сохранение.

— Не знаю, не знаю, ни-и-чего не знаю, — ответил дядя Вася и пошел, и стал дальше трудиться над выполнением срочного заказа.

Дядя Вася был столяр. Они вместе с другими трудящимися строили на пустыре новый цирк вместо старого. Дядя Вася был неплохой мастер. Он работал несколько дней по срочному заказу, а потом пришел отдохнуть домой и видит, что его личные вещи жена выставила на улицу.

А ведь сам по себе Фетисов выглядел мужчиной не то, чтобы чем особо выдающимся, но он был мужчина ладный, плотный, крепкий, рожка в оспе, и зарабатывал неплохо — оклад 105 рублей в месяц, а дальше как повезет — до ста восьмидесяти.

Может, Маньку охватила внезапно вспыхнувшая любовь к претенденту, что вполне возможно, если учесть, что у последнего имелись большие черные усы?

А может, у него и денег имелось поболее, чем у дяди Васи? Не исключено. Не исключено даже, что он являлся каким-нибудь холостым начальником и теперь решил жениться на Маньке, покоренный ее простой красотой и природной грацией.

Ну, дядя Вася вернулся в строящийся цирк и продолжал работать на фрезерной пиле.

А в листовяжном бруссе оказался крепкий сучок, который дядя Вася сослепу и с горя не заметил.

Фреза нашла на сук, кроша его с визгом. Дернулся брус, дернулась дяди Васина рука и из нее забил фонтан крови, потому что фрезой оторвало дяде Васе три пальца: большой палец, указательный палец и палец мизинец правой руки.

Дядя Вася, было, стал на колени и шарился в пыли, но фрезу остановили, дядю Васю подняли и отправили на лечение.

Лечился он полмая, июнь, июль, август, сентябрь и двадцать дней октября, после чего 21 октября он внезапно появился в столярной мастерской недостроенного еще цирка.

Его обступили дружной гурьбой, но он заплакал и опять встал на колени.

Некоторые думали, что травмированный окончательно лишился разума, но они и на этот раз глубоко ошибались. Передвигаясь и стоя на коленях, Фетисов сумел отыскать под фрезой в пыли и застарелых опилках два свои из трех оторванных пальцев: мизинец и большой.

Дядя Вася прижимал найденные пальцы к груди и казался самым счастливым человеком на земле. Пальцы были сушеные, серовато-черные. Они очень высохли, но все равно было видно, что это настоящие бывшие пальцы.

И молодежь, потрясенная этой драматической сценой встречи старого рабочего со своими пальцами, поклялась, что в случае нахождения ими указательного сушеного пальца правой руки дяди Васи, они немедленно передадут его владельцу.

Далее, полностью получив все деньги по больничным листкам за перенесенную им производственную травму в размере ста процентов заработной платы, дядя Вася по собственному желанию уволился из столярной мастерской строительства цирка. Ведь бедняга не мог уже с прежним тщанием выполнять поручаемую ему работу!

По увольнении он, кстати, неплохо устроился. Он устроился ночным сторожем в кафе „Лель” близ колхозного рынка. Дежурит через день. День дежурит, а день не дежурит. Заступает в восемь часов вечера. Получает 60 рублей зарплаты, а вычетов никаких, ввиду минимально возможной суммы оклада.

После вечернего закрытия кафе и магазинов, начиная с одиннадцати часов, дядя Вася тайно торгует своей водкой, купленной днем в магазине, продавая ее по твердой цене 6 рублей бутылка.

Это приносит дяде Васе за вечер от 20 до 40 рублей чистого дохода. Бывает, что далеко полночь не гаснет гостеприимный огонек дяди Васиного окна комнаты, где он ночует, сторожа.

Но и это не все. Дядя Вася человек трудовой, привыкший с детства к труду, поэтому он не может допустить, чтобы полтора суток между двумя ночными дежурствами пропадали у него в праздности, даром.

Дядя Вася научился лить леденцовых петушков на щепочках. Это оказалось очень просто. Плавится на плите сахар, в него добавляется пищевой краситель разных цветов: красного, синего или цвета индиго, потом все заливается в форму петушка, где уже имеется специальная оструганная щепочка соснового дерева.

Петушков дядя Вася льет днем и по ночам, когда есть время, а продает только днем, около колхозного рынка. Цена петушка — 15 копеек штука, иногда — 20.

Про бывшую жену дядя Вася и думать забыл, и не знает, и не помнит. И не хочет, чтобы кто-нибудь что-нибудь про нее ему сказал. Он с ней развелся за 90 рублей.

Пуškai себе она живет с мамой и со своим черноусым начальником.

А может быть, она и умерла уже?

Это дядю Васю совершенно не интересует, потому что у него есть теперь новая подруга жизни. Славная такая бабенка, чуть старше его — 1927 года рождения.

Она ниже среднего роста. Чернобровая, полногрудая, с пушком над верхней губой, с миленькими ямочками и бородавкой правой правого глаза.

По специальности она ставит синие клейма на привезенном сельскими колхозниками на колхозный рынок свежем мясе.

С дядей Васей они познакомились не при исполнении служебных обязанностей, потому что дядя Вася не колхозник и у него нет мяса на продажу.

И не в процессе торговли дяди Васи леденцами встретил он ее, потому что его подруга равнодушна к леденцовым петухам. Она любит самого дядю Васю, а вовсе не его отлитых петухов.

А нашли они друг друга в ресторане „Енисей”, в воскресенье, когда дядя Вася, слушая джаз, скромно кутил на свои, заработанные изуродованными руками, деньги.

Она сидела одна за столиком. Дядя Вася застенчиво подошел к ней и предложил выпить бокал шампанского вина. Потом они танцевали.

Глупая Манька! Глупая бывшая дяди Васи́на супруга! Да она была бы счастлива за дядей Васей, как за заморским принцем! Ей только нужно было понять дяди Васи́ну открытую душу, и он бы носил ее на руках. А так он ее совсем забыл и носит на руках свою новую знакомую.

Вот что произошло однажды с дядей Васей Фетисовым. Вот какая стала его жизнь. Он переехал жить к подруге в ее деревянный дом около кирпичного завода. Новый дом его — полная чаша. У него есть все. У него много чего есть. У него есть телевизор с экраном 60 на 80. Подруга его — цветок. У него есть все.

Но примечательно, что найденные в пыли под фрезой пальцы дядя Вася ценит выше всех имеющихся у него богатств.

Дядя Вася держит пальцы в специальной запертой шкатулке и любит ими по большим праздникам. Слегка омрачает его безмятежное существование лишь безвозвратная потеря указательного пальца.

Он очень просит ребят найти палец и даже обещает дать за это солидное вознаграждение.

Он часто приходит в свою бывшую столярную мастерскую строящегося цирка и просит, кланчит, заглядывает под верстаки, в углы.

Молодые столяры, в свою очередь, и рады бы помочь своему бывшему старшему товарищу, потому что он по-прежнему вызывает в их сердцах сильное уважение, но к величайшему огорчению всех, палец куда-то пропал, и совершенно нет никакой возможности его найти.

Конечно, вполне может быть, что палец вымели когда-нибудь, не обратив внимания, еще до того дня, как дядя Вася, прийдя с лечения и встав на колени, нашел два свои сушеные пальца из пяти бывших. Очевидно, что так оно и есть. Но некоторые говорят, что этого не может быть, потому что пыль в мастерской никогда не убирается. Они врут или нет? Не знаю. Вполне вероятно, что и они правы. Все всегда правы. И вообще, если говорить честно, что-то тут не то. Что-то тут не то в этой вроде бы простой на первый взгляд истории. Что-то тут не то.

ЕДИНСТВЕННОЕ ЖЕЛАНИЕ

Вечером в понедельник я, как обычно, сидел дома и смотрел в окно. Там шел дождь, и спешили на вечерние занятия студенты. Дождь размывал слежавшийся серый снег, какие-то почти черные льдинки. Дождь также сек голые прутья нераспустившихся деревьев и серую каменную стену напротив. Мерзкий дождь! Там шел дождь и капала вода, какой-то студент поскользнулся в лужу и, сохраняя равновесие, случайно ударил проходящую бабу чертежным тубусом по голове. Я открыл форточку.

Баба немедленно покрыла учащегося матом.

— Ну, извините, — сказал он.

— Хрена ли мне с твоего „извините”. Из него шубы не сошьешь, а по морде ты мне уже заехал, — рассудительно заметила баба.

— Это верно, — согласился студент.

За этой сценой жизни наблюдали, кроме меня, еще и на улице. Мать с сыном. Жадность к зрелищам горела в их глазах. Сын был мальчик младшего школьного возраста и, должно быть, обожрался халвой — такое у него было подсолнечно-мучное личико. Мама же давно уже, по-видимому, нигде не работала, а лишь ездила на хороших машинах, называя шофера по имени „Вася” или „Толик”.

Они подошли поближе, и сын открыл рот, но студент крикнул:

— Чего раззявились, раззявы!?

— Ити вашу мать, — добавила баба.

Возмущившаяся почтенная владелица обожравшегося ребенка тоже открыла рот и тоже стала ругаться. После того, как они все окончательно переругались, раздался стук в дверь, и зашла вся в каплях дождя Марья Александровна, мой большой друг.

Марья Александровна родилась в 1932 году и когда-нибудь умрет. В 1947 году Марья Александровна закончила школу-семилетку и поступила работать учеником продавца в продовольственный магазин. В 1950 году Марья Александровна вышла замуж за одного инспектора, бросила работу и родила ребенка, чуть-чуть располнев.

Вскоре муж покинул Марью Александровну, а ребенок умер, отчего Марья Александровна снова вернулась в магазин. А было это уже в 1955 году. После этого Марья Александровна еще несколько раз выходила замуж, но работу уже не бросала. Работу она меняла. Она последовательно была продавцом, приемщицей порожней посу-

ды, посудомойкой, официанткой, зав. производством столовой, официанткой в кафе, зав. производством в кафе, метрдотелем ресторана и, наконец, утвердилась в роли заведующей столовой одного важного учреждения, где мы с ней и познакомились, когда я что-то ел такое вкусенькое, из приготовленного Марьи Александровны подчиненными и сотрудниками.

Да-а. Если бы Марья Александровна была писателем, то можно было бы позавидовать ее такой богатой трудовой биографии. Хотя, впрочем, и так можно было позавидовать, потому что к концу своей, имеющейся на сегодняшний день биографии, Марья Александровна пришла с полным ртом золотых зубов и квартирой, которая являлась ни чем иным, как полной чашей. И с полным знанием обо всех имеющих на Земле вещах и предметах вдобавок.

И если вы думаете, что я шучу насчет полной чаши предметов у Марьи Александровны на квартире, то вы очень ошибаетесь. Я не шучу и не смеюсь. Я вообще никогда не смеюсь и не шучу. Я очень серьезный человек.

Так вот. Я был у Марьи Александровны дома и могу описать вам, что у ней есть, чтобы вы знали, что такое Марья Александровна.

Как к ней заходишь, так у ней перед дверью коврик, похожий на платяную щетку гигантских размеров. Вернее, не одна щетка гигантских размеров. Это — неправильно. Будто бы штук сорок взяли платяных щеток. Соединили вместе и положили образовавшийся гигантский прямоугольник вверх волосом под дверь Марьи Александровны, чтоб приходящий мог аккуратно протирать ноги.

И действительно, если приходящий имел на подошвах хоть чуть уличной грязи, коврик Марьи Александровны сдирал грязь всю, иногда даже оставляя на подошвах гостя глубокие царапины.

Так что, оказавшись у Марьи Александровны, гость уж был чист ногами, но все равно. Его заставляли снимать ботинки, потому что выдавали очень мягкие, легкие и приятные комнатные тапки.

Тут же в прихожей имелась длинющая, на всю прихожую ковровая дорожка. А у стены — специально заказанный в мастерской индивидуальной мебели узенький мягкий диванчик, чтобы гости не утомлялись, снимая и одевая комнатную и уличную обувь, чтоб у них не было прилива крови к голове.

Ковровая дорожка и дверь со стеклом вели во внутренности квартиры Марьи Александровны, состоявшей из одной комнаты.

Да. Комната у Марьи Александровны была одна, но зато что это была за комната!

Выходящая на какую-то постоянно солнечную сторону, заливая светом от потолка и до пола, с люстрой, позванивающей подвесками при малейшем прикосновении токов воздуха.

Черное пианино у стены, обнажавшее по желанию гостей свою

снежно-угольную пасть.

Стол на черт знает сколько персон, покрытый ослепительной пенно-белой скатертью с синей каймой, пущенной по низу.

Стулья, мягкие стулья, цвет обивки которых я не берусь называть. Вишневые, что ли.

Платяной шкаф за 168 рублей. Трюмо. Журнальный столик, пуф, еще один пуф, подставки для цветов, полотна Шишкина на стенах.

И наконец — кровать!

О! Она деревянная!

О! Она трех, четырех и более спальная!

О! Она такая кровать! Она высокая! Она мягкая!

О! Она такая кровать, какую всякому иметь охота, кто такой не имеет!

Были, конечно, в квартире и туалет, и ванная, и кухня. Но описывать их имеющееся великолепие нет у меня таланта, нету и силы. Да и не нужно ведь. Потому что и так ясно, какая может быть у Марьи Александровны кухня при такой квартире. Ясно, что полная изобилия, а то как же иначе.

Тут у некоторых может возникнуть вопрос: „А откуда у Марьи Александровны взялось все подобное вышеописанное? Неужели же действительно продавцы и зав. столовой воруют?”

На это я не отвечу почти ничего, так как не знаю. Может быть, и воруют. А может, и не воруют. Кто их разберет? А если конкретно насчет Марьи Александровны, так я тоже не знаю. Она — мой друг. Вполне возможно, что обстановка досталась ей в наследство от какого-либо очередного мужа, а возможно, что она выиграла ее в лотерею. При чем тут зав. столовой? Кто ее разберет? Я, например, никогда не спрашивал об этом Марью Александровну. Не спрашивал и спрашивать не собираюсь. Если бы она делала что-то противозаконное, то ее давно бы посадили в тюрьму. На это у нас есть юстиция. А раз она не сидит в тюрьме, значит она чиста, и нечего беречь ей душу нескромными вопросами. Ну, в самом деле. Может быть, мне ее еще спросить, откуда взялись у ней золотые зубы? Ясно, что из зубопротезного кабинета, а то откуда еще.

Итак, появилась в дверях, вся в каплях дождя Марья Александровна, мой большой друг.

И я сразу понял, что с ней творится что-то неладное.

Она была мертва. Она развязала свой прозрачный синтетический платочек и стянула его с головы одной рукой так, что вся ее пышная прическа сбилась набок, а платочек стал лежать на полу.

Она почти без сил рухнула на табуретку и закрыла глаза.

Я же переложил папиросу в другой уголок рта и приготовился внимательно слушать.

...Оказалось, что однажды к ним в столовую попал с улицы мо-

лодой человек и попросил пищи. Марья Александровна хотела отказать ему по случаю обеденного времени и вообще, но не смогла.

— Вы понимаете, Утробин, он был такой, знаете ли, бедненький. Он худенький такой, стриженный, с бородкой, в очках. Как Дон-Кихот. Съел свой гороховый супчик, котлетку. И задумался, и вышел вон. А мне навечно запал в сердце. Студент.

Приходил он к ним в столовую и еще много раз. Ел и пил за свои бедные деньги. И переполнял сердце Марьи Александровны до той поры, пока она не остановила его как-то после принятия горохового супу и не сказала так:

— А вы знаете, Леша (его звали Леша), приходите, пожалуйста, ко мне в понедельник вечером, часиков в полседьмого. Вы мне очень будете нужны.

Сказала и посмотрела на него восточными глазами.

Студент очень удивился.

— А что за дело, если не секрет, приведет меня к вам в понедельник в полседьмого вечера, уважаемая Марья Александровна?

— Пока секрет. Приходите и увидите. Ведь вы же знаете, как мы, женщины, любим свои маленькие секреты и хитрости. Как мы слабы, беззащитны, — говорила Марья Александровна, в волнении тряся золотыми серьгами и вручая студенту свой адрес.

— Знаю. Знаю, — отвечал студент, сглатывая слюну. — Это мне довольно известно, и если я чем-либо в силах помочь, то я обязательно приду.

— И он пришел, — продолжала свой рассказ Марья Александровна. И не в силах больше выдержать, зашлась в тяжком плаче с рыданием.

Она рыдала, хорошея на глазах, а я тоже в волнении достал бутылку „Боржоми” и напоил бедную женщину минеральной водой для ее успокоения и продолжения рассказа.

Он пришел и не был поражен, кажется, великолепием обстановки. Он прошел в комнату и, сидя за празднично убраным и разукрашенным столом, произнес такую фразу:

— Ну, так чем я могу вам служить?

А Марья Александровна, уже надевшая тот праздничный наряд, в котором и явилась ко мне, объяснила, что у ней как раз исполнился сегодня день рождения, и она позвала Лешу, чтобы скромно отметить это небольшое событие ее жизни.

Студент был удивлен, потрясен и напуган. Он для верности переспросил, точно ли у Марьи Александровны сегодня день рождения, и не нуждается ли она все же в его услугах, как врача-медика. Потому что он уже почти изучил большинство болезней, и Марья Александровна смело может советоваться с ним по любому вопросу.

Марья Александровна тихо засмеялась и сказала, что пока она,

Слава Богу, здорова и в услугах доктора не нуждается. А если ей будет нужен доктор, то она придет к нему, Леше, и скажет всего два слова: „Лечи меня!”

— Так у вас, действительно, сегодня день рождения, — допытывался Леша. — Если это так, то тогда где все остальные ваши гости?

— Их нет, — объяснила Марья Александровна. — Их на день рождения никогда у меня нет. День рождения я люблю проводить с самым... самым.

Тут она запнулась, но, справившись с собой, продолжала дальше.

— С самым. В прошлом году у меня был Шахмуратов, мой друг, директор рыббазы. Но это такой негодяй! Даже и не напоминайте мне о нем! Не хочу о нем слышать!

Тут все пошло на лад. Студент был по-прежнему суров, но не очень. Они с Марьей Александровной кушали, выпивали и рассказывали друг другу свои жизни.

Оказалось, что студент рано лишился родителей, отслужил в армии, до всего дошел сам, и ему ничего не нужно. Скоро он будет врачом.

— Скоро я буду врачом, — сказал студент. — Я буду психиатром. Психиатрия — это такая наука! Она позволит мне изучить всех людей.

— А зачем это вам, Леша, — робко спросила Марья Александровна.

— А затем, что все люди полны желаний, а у меня их нет. У меня нет желаний и мне ничего не нужно. Вот я и хочу понять, почему у людей есть какие-то желания. Что это значит. И почему их нет у меня. Точка.

Они танцевали. Да. Нежно лилась музыка из динамика радиолы „ВЭФ-Ригонда”, и Марья Александровна, обволакивая студента, говорила ему что-то, а он ей что-то отвечал. Танцевали.

И студент был нежен. И смотрел он на Марью Александровну нежно, и закусывал. А потом вышел в коридорчик, сказав в комнату, что он на минутку. И исчез навсегда.

— Утробин! — завопила Марья Александровна. — Он исчез! Навсегда! Что скажете вы мне, инженер и строитель человеческих душ?

И зашлась опять же плачем, который, если по совести сказать, мне уже немножко надоел.

Я тогда сразу принял участие в Марье Александровне. Я сварил крепкого чаю и подал стакан в дрожащую руку ее. А также поинтересовался, нет ли у ней еще каких желаний.

— Единственное мое желание — это выполнять все желания моего милого. Но у него их нет, нет! — дико вскрикнула Марья Александровна и опять зашлась в некотором плаче, повторяя:

— Вот так эпизод, эпизод.

— Да, — прошептал я, глядя в ее, подернутые дымкой глаза, — вот так эпизод.

— Эпизод, эпизод, — соглашалась Марья Александровна, укоризненно качая головой.

Мы помолчали. Потом я решил провести беседу.

— Видите, Марья Александровна, к чему вы приходите в итоге своей жизни. К нулю. Не виной ли тому ваше неправильное поведение в области морали?

— А что я могу сделать, если и вы, Утробин, и Шахмуратов, и Григозов, и Канкрин такие негодяи, — справедливо вскричала Марья Александровна.

И я молчал. И она молчала. И был вечер. Почти ночь. И тут раздался тихий стук в дверь, и я пошел выяснять, в чем дело.

— Марья Александровна у вас, — услышал я голос тихий, как стук. — Мне сказали, что она пошла к вам.

— Кто сказал? — поинтересовался я.

— Сказали.

— А-а. Она у меня. Но она не захочет вас видеть, потому что так не поступают, молодой человек.

— Так поступают. Скажите ей, что я принес ей цветы. Я пошел и купил ей гладиолус. Две штуки. Я пришел к ней на день рождения без подарка, а сейчас принес ей гладиолусы. Скажите ей, а то я поломаю вам дверь.

— Вранье все это, — громко сказал я. — А вход вас сюда воспрещается.

Но все же передал слова Марье Александровне. И она, конечно же, немедленно меня покинула, забыв обо мне. Расцвела и выпорхнула.

И остался понедельник. Вечер. Почти ночь. Я высунулся в темное окно и долго следил за удаляющейся по сырой мостовой прекрасной парочкой. Они шли нежные, обнявшись, прижавшись, шли куда-то. Шли все, шли, а я нацепил на нос очки и, ошеломленный действиями студента, а также неожиданным концом его поведения, стал писать этот рассказ.

Пишу, думаю и удивляюсь, потому что обычно так не бывает. А если и бывает, то тут должна таиться какая-то фальш, смысла которой мне сразу не понять. Да и потом тоже.

САМОЛЕТ НА КЕЛЬН

Всякий должен понять, каким важным событием в жизни труженников нашего крупного города явилась встреча в аэропорту славного сына зуарского народа товарища Мандевиля Махура, который, пролетая над пустынными просторами Гоби, буддийскими дацанами Монголии и Бурятии, снизился среди зеленого моря еловой тайги и запланированно остановился на аэродроме нашего крупного города, чтобы заправиться керосином для дальнейшего счастливого полета через Москву в Кельн и самому чтоб немножко подзакусить, немножко покушать этой вкусной сибирской ухи, приготовленной из енисейского тайменя и ангарской стерляди. Всякий должен понять, как радостно было всем нам видеть спускающегося по трапу высокого, загорелого, мужественного человека в полувоенной форме, с лицом, испещренным глубокими шрамами, полученными во время длинной освободительной борьбы Зуарии против гнета неокOLONIALISTОВ и других темных сил прошлого, борьбы, на протяжении которой эта многострадальная страна 6 раз меняла свое название, лишь совсем недавно обретая полнейшую и окончательную независимость под флагом Свободы и Демократии, смело рвя цепи иностранных монополий и крупного капитала, руководимая лично товарищем Мандевилем Махуром.

И вот уже запели торжественные солдатские трубы, и пионеры, слегка волнуясь, расправляли свои цветы в красных оранжевых букетах, и милиция уже призывала толпу не напирать, и малыш, ведомый мамой, уже готовился пустить в синее небо зеленый шарик, когда вдруг Тутарышев, неловко держащий в замшевых перчатках фарфоровое блюдо с громадным сибирским караваем и резной солонкой, вдруг обратил внимание, спросил инструктора Кудряша:

— А где Козорезов? Почему нет Козорезова?

— Начальство не опаздывает, оно задерживается, — тонко пошутил Кудряш, дуя в стылые ладони.

— Безобразие, — сказал Тутарышев и, широко, по-русски улыбнувшись, шагнул навстречу знаменитому гостю.

Всякий должен понять... И всякий должен понять, как обидно и горько стало т.Козорезову, когда лишь как только отъехали они от своего серого здания в черной „Волге”, так тут сразу же раздались треск, крак и дзынь. Машина дернулась, осела, заходила ходуном, а переднее ее стекло ловко разбилось, засыпав узенькими кубиками

всю асфальтовую мостовую, покрытую тонкой пленочкой мелкого свежавывавшего снега. Шофер протирал платком сочащийся лоб. Козорезов перед этим думал, что Лена последнее время уж что-то слишком много стала себе позволять, тем более еще и та история с французскими колготками, которые он купил в Москве для жены, — мелочь, конечно, но нет ли тут шантажа какого, может быть даже и со стороны САМОГО, определенно что-то тут нечисто, — думал Козорезов, когда вдруг — треск, крак, дзынь, и шофер протирает платком сочащийся лоб.

— Не успеваем? — только и спросил из глубины машины Василий Никитич.

— Куда там с добром успеешь, такая-то мать, — сплюнул шофер сквозь разбитые губы. — Суки, снега убрать не могли, колесо по ось провалилось, я бы иначе заметил...

— Ну, ты тут разберешься, — сказал Козорезов, выходя из машины.

И трусцой возвратился обратно в серое здание, но машин уже не было ни одной.

— А дежурку пресса заняли. Если б я знал, если б я знал, — повторял начальник АХО, не глядя на Козорезова.

— Ну как так можно? Ну как, я тебя спрашиваю, так можно-то? — вспылит Козорезов. — Я тебя спрашиваю — как так можно?

Начальник молчал. А Козорезов влетел в кабинет и трясущейся от гнева рукой закрутил диск белого телефона.

— Это Козорезов, — сказал он в трубку. — Я тебя хочу спросить, когда у тебя, понимаешь, порядок будет?

— Какой такой порядок? — невинно осведомился невидимый Миша Дворкин, хитрящий на другом конце провода.

— Молчать, понимаешь! — заревел Козорезов. — Ты из себя не строй тут эту, понимаешь! У него снег не убирается на улице, и вздутия и выбоины на мостовой, понимаешь! Ты что, под суд хочешь пойти?

— А снег разве выпал? — спросил Миша. Но Козорезов в ответ так тяжело задышал, что...

— Я! Я — лично! — залепетал Миша. — Я лично, я разберусь, я все...

— Ты... ты, — передразнил Козорезов, добавил в рифму матом и тут же бросил трубку. Закрыл глаза, взял под язык таблетку валидола.

А Миша послушал немногие эти оставшиеся страшные гудочки и сразу же набрал номер Скорнякова.

— Вот что, Скорняков, — тихо сказал Миша. — Ты билет на стол хочешь положить?

— Не ты мне его давал, не ты и забереешь, — заученно огрызнулся

Скорняков, перед которым вот уже с полчаса стояли два взаимных жалобщика, слесарь Епрев и сантехник Шенопин, которые жаловались друг на друга, что каждый из них набил другому морду.

— Что?! — завопил Миша. — Да ты совсем, я вижу, онагшел? Да ты знаешь, что мне сейчас из-за тебя звонил сам Козорезов.

— Да в чем дело-то, скажи, — уже не на шутку разволновался и Скорняков.

— А в том, что снег-то выпал? Выпал или нет, я спрашиваю?

— Ну, выпал...

— Не „ну, выпал”, а выпал.

— Ну, допустим, действительно выпал. И что?

— А то, что, допустим, почему он тогда не убирается?

— Как это так „не убирается”? Он убирается.

— Убирается?

— Убирается.

— А я тебе говорю — ни хрена он у тебя не убирается!

— Почему?

— Это он еще меня, наглец, спрашивает, почему, — простонал Миша, швыряя трубку. А Скорняков от такой нежданной печали даже зажмурился.

— Дак что вы, какие меры вы примете против этого фашиста? — спросил Епрев, указывая желтым ногтем на взъерошенного Шенопина.

— Отметьте, со всей объективностью отметьте это высказывание, товарищ Скорняков, — уныло отозвался Шенопин. — Если он, не стесняясь вашего присутствия, дает мне такое наглое политическое клеймо, то представьте его распушенность в более обыденной обстановке.

— А ну пошли отсюдова обои! — гаркнул Скорняков.

Приятеля попятились, глядя на него с нескрываемым восхищением.

— Мы ведь тоже люди, — пискнул было Шенопин. Но Епрев пихнул его в бок.

— Выдь! Выдь! Тебе сказано, — прошипел он. — Видишь, тут решается важный вопрос. С-скотина...

И они покатались за дверь. Скорняков взялся за голову.

А дядя Ваня Пустовойтов, тихий и грустный, маленький, как воробей, сидел за своим обшарпанным столом и с мучением смотрел на расположившуюся прямо перед его носом хрустальную чернильницу. Дядя Ваня думал о том, что чернильницу эту неплохо бы давно отсюда убарть, поскольку все советские граждане, в том числе и он, дядя Ваня, давно уже пишут шариковыми авторучками. Старик понимал, что чернила были гораздо хуже шариковой пасты, так как в них всегда копились козявки, и перо рвало бумагу. Но тут же он как честный и объективный человек вынужден был отметить, вынужден был подумать и о том, что раньше паста была гораздо лучше, а сейчас стала го-

раздо хуже.

— Покупаешь новый стержень, — бормотал дядя Ваня. — А он уже сразу не пишет. Так что, может быть, и есть смысл держать на столе эту хрустальную чернильницу — вдруг паста станет окончательно плохая, и тогда можно будет велеть налить в чернилку свежих фиолетовых чернил и, макнувши стальное перышко, можно будет красиво где-нибудь на чем-нибудь расписаться.

— А за козявками нужно просто аккуратнее следить, — сказал дядя Ваня. И хотел под эту мысль открыть левую тумбу и выпить глоточек из припасенной полулитровой бутылки, но тут не ко времени зазвонил телефон.

Дядя Ваня помедлил, выждал, запер тумбу на ключ и лишь тогда трубку мягкой ладошкой — хват!

— Так-так-так, — уныло соглашался он. — Совершенно верно. Я вас понял. Мы учтем. Это вы правильно подметили. Я с вами полностью согласен. Разумеется, разумеется — виновные будут строго наказаны. Нет, я не снимаю с себя ответственности. Я как командир производства обязан был...

Но тут в трубке загудело, и дядя Ваня, еще чуток помедлив для вежливости, аккуратно возвратил трубку в исходное состояние.

— Глафиру позвать, — кротко обратился он, высунув маленькую голову к секретарше Свете Онанко, которая, высунув, в свою очередь, язык и страшно скривив рожу, глядела в зеркало и выщипывала на редких бровях какой-то ненужный волосок.

— Я сказал тебе, кажется, Глафиру позвать! — подкрикнул дядя Ваня.

— Нету Глафиры, — отрезала секретарша, не отрываясь от зеркала.

— Почему нету? — удивился дядя Ваня.

— Опоздала, значит, — сказала Светка.

За дверью завопили. Вдруг вошла Глафира.

— Врешь, я не опоздала, — с порога заявила она, с ненавистью глядя на Светку.

— Я тебе повру, я тебе повру, — сказала Светка.

— А ну — тихо! — навел порядок дядя Ваня. И официально обратился: — Глафира Поликарповна, прошу пройти в кабинет.

Они и прошли в кабинет. Дядя Ваня сел, трогал крышку чернильницы, чернильница звякала. Глафира стояла у стены напротив, под портретом.

— Как же это так, Глафира, — выговорил наконец Иван Иванович. — Ты знаешь, как я тебе доверяю, как я всем вам доверяю, я сам вышел из народа. И вот теперь я, выходит, наказан за свою же доброту?

— Это как так наказан? — спросила Глафира.

— А так, что мне звонил сам товарищ Скорняков, и мне придет-

ся писать рапорт, а тебе придется писать объяснительную.

— Да я и писать-то не умею, — скуksилась Глафира.

— Не лукавь, Глафира, я этого не люблю, — нахмурился Иван Иванович. — Согласно твоих анкетных данных, ты имеешь 7 классов образования.

Глафира окончательно стушеввалась и вдруг зарыдала, прикрывшись стеганным рукавом.

— Что писать-то, что писать? — всхлипывала она.

— А как было, так и пиши всю правду. Почему опоздала, почему не убрала, почему не выставила предупреждающий знак. Все пиши.

— Да стыдно ведь! — со стоном выдохнула Глафира.

— А чего тут стыдного? — удивился дядя Ваня. — Нагрешила, так и пиши. А я тебя прогрессивки лишу...

— Не в прогрессивке тут дело, а то, что — стыдно, я ж не могу вам как мужчине сказать...

— Говори!

— Стыдно!

— Говори! Я тебе в отцы гоюсь.

Иван Иванович торжественно встал.

— Мы вчера были на колхозном рынке, на ярманке этой плодовоощной... — утираясь, начала Глафира.

— Ну?

— И там наелись шашлыков...

— И выпили, конечно, прилично?

— И выпили... А к утру у Федора разыгралась физическая сила.

— Ну...

— И мы с ним никак не могли кончить...

— То есть, как это „кончить“? — похолодел Иван Иванович.

— А вот так, обыкновенно. Я, верней, уже два раза кончила, а он все никак не мог кончить.

— Но ведь ты же говорила ему, что тебе надо на работу?

— А что я могу поделать, когда он озверел. И потом, честно сказать, мы с ним давно не кончали. Прошу меня в этом не винить...

И она снова заревела.

— Перестань! — крикнул Иван Иванович.

Баба и умолкла. А Иван Иванович, разинув рот, на нее смотрел. Она стояла строгая, заплаканная, замотанная в платок, в ватной телогрейке и таких же брюках, вытянув руки по швам. Что-то дрогнуло, я клянусь, что-то дрогнуло — в сердце ли, в организме Ивана Ивановича...

— Ну иди, — сказал он. — И чтоб такое больше не повторялось.

— Да никогда в жизни, — радостно сказала она и удалилась.

— Хотя что это я говорю? — удивился Иван Иванович, оставшись в одиночестве. — Ведь крепкая семья — это основа нашего общества, так что со своей позиции женщина права. Но подпадает ли ее случай

под нашу мораль? Не есть ли этот случай с Глафирой последствие все более и более распространяющегося среди молодежи западного буржуазного секса?

А товарищ Мандевиль Махур бесстрастно смотрел в окно. Там виднелись маленькие немецкие дома, крытые красной черепицей, серые ленты немецких шоссе, маленькие немцы выходили на крыльцо, маленькие автомобильчики, казалось, и не двигались вовсе.

О чем думалось товарищу Мандевиллю Махуру? Что вспоминалось славному борцу за гражданские права своего народа? Годы ли учения в холодном чопорном Кембридже? Джунгли ль Зуарии, где за каждым кустом таилась смерть? Товарищи ли его по борьбе, с которыми он был вынужден расстаться во имя жизни революции? Или эти смешные русские, с такой приветливостью угощавшие его этим своим, можно сказать, варварским блюдом?

Иван Иванович подошел к окну.

Глафира удалялась, важно ставя ноги на выворот. На свежее-павшем снегу четко отпечатывались следы ее новых галош, одетых на казенные валенки.

Мандевиль Махур тихонько рыгнул. Его секретарь вынул из кармана яркую коробочку с желудочными пилюлями.

— Подлетаем к Кельну, господин Махур, — сказал он.

А Иван Иванович открыл-таки тумбу, налил себе чуть больше полстакана и посмотрел на стену. Со стены, ласково прищурясь, глядел на него родной человек.

— Ваше здоровье, — сказал Иван Иванович.

СТАТИСТИК И МЫ, БРАТЯ СЛАВЯНЕ

Тут некоторое время назад один сукин сын крутился у нас, на улице Достоевского по субботам и воскресеньям.

Летом был одет в молескиновый костюмчик, а зимой — в тулуп. Вернее не тулуп, а как летчики носят — на меху и на брезенте. Купил, наверное, у летчиков на барахолке.

Ему сантехник Епрев говорит:

— Ты что это у нас шляешься, козел? Тебе что — других улиц мало? Иди отседова!

А он в ответ:

— Нет, я все-таки попрошу вас вспомнить национальность вашего дедушки. У вас правильное русское лицо, но что-то все же вызывает мои сомнения.

Епрев тогда ему показывал кулак.

— Нет, вы не подумайте, что я... что-либо предосудительное. Меня даже и фамилия ваша не интересует. Но скажите честно — ваш дедушка случайно не был еврей? Или грек?

Епрев, хорошо себя зная, после этих слов сразу же уходил, опасаясь, что не выдержит и потом до конца дней своих будет петь лагерные песни.

А субъект разводил руками.

— Видите. Никто не хочет помочь мне в моем важном деле.

— Да кто же ты все-таки есть такой? — интересовались мы.

А вот этого-то вопроса тип терпеть не мог. Он тогда сразу складывал все свои инструменты. А они у него были: карандаш и ученическая тетрадка за две копейки. И начинал плести чушь, вроде:

— Я? Вы спрашиваете, кто я? Я — обыкновенный статистик.

Но я его для ясности все же буду называть сукиным сыном, а не статистиком. Так оно вернее, да и впоследствии подтвердилось.

Вообще-то его в милицию пару раз сводили, конечно, потому как ошибочно думали — вор.

Его мильтон спрашивает:

— Вы с какой стати ходите по дворам, гражданин?

А тот бормочет под нос, что известно, де, с какой целью.

Тут ему Гриня (мильтон) и выкладывает:

— А вот граждане считают, что вы хотите чего-нибудь спереть — с той целью и шатаетесь.

И смотрит на него очень внимательно, впиваясь взглядом, как гипнотизер.

Сукин же статистик ему очень спокойно:

— Да. Это очень распространенная ошибка. Меня часто принимают не за того, за кого надо. А я — ученый.

— А документики у вас есть, уважаемый гражданин ученый?

— Есть.

И достает паспорт.

Ну, Гриня смотрит. Паспорт, как паспорт. Зеленый. Прописка есть, судимостей нету.

— Ступайте, — говорит. — И смотрите, чтобы люди на вас не жаловались.

А ему только дай волю!

— Так вы утверждаете, что ваш дедушка — сосланный донской казак чистых славянских кровей. Но ведь ваша прабабушка — тунгуска, как вы выразились на прошлой неделе.

Все, язва, помнил. У него на каждого было заведено дело, где имелись родственники в старину до пятого человека. Дальше никто вспомнить не мог.

Раз статистик Орлова попрекнул, что тот ничего не знает про свою прабабушку. Орлов обиделся и кричит:

— Отвали ты, волк! Я про своих псов все тебе расскажу. Они — колли, сеттер и пинчер. Они медали имеют. И могу тебе хоть до пятого, хоть до десятого кобеля. А ко мне ты чё привязался? Я тебе чё — кобель?

И тут вы можете заметить, что мы с ним разговаривали довольно грубо. Это верно, грубо. А как еще прикажете с ним разговаривать, когда он шатается под окнами и, если кто выйдет, так он сразу к нему:

— Скажите, пожалуйста, ну а сами вы что думаете? Считаете себя славянином?

Как бы вы ответили на подобный идиотский вопрос? Ясно, что и отвечали по-разному. Кто: не знаю; кто: подумать надо; кто: какая разница.

А Шенопин, например, долго не думая, взял да и завез статистику в глаз. Он, правда, потом долго извинялся. Пьяный, говорит, был. Простите-извините, товарищ статистик. И все ему рассказал про своего прапрадедушку — пленного француза.

— А прабабушка у меня была донская казачка.

— Что-то вас тут шибко много, донских казаков, — только-то и заметил сукин сын, трогая пальчиком незаживающий шенопинский фингал.

Уж его и жалели.

— Ты бы шел куда на другую улицу. Ты ведь нас уж вдоль и по-

перек изучил.

— Почти! — статистик поднимал палец. — Почти, но не совсем. Вспоминайте, вспоминайте, граждане. У меня — теория.

Уж его и умоляли.

— Да ты глухой ли, что ли? Иди на другую улицу.

— Не мешайте мне работать! — сердился этот паразит. — На другие улицы я хожу по другим дням. Вы, может, думаете, что вы у меня одни?

Уж его и жалели.

— Может, тебе денег дать?

— Не надо мне ваших денег. Мне их платит государство, — отвечал этот наглец, заползший к нам, как гадюка на теплую грудь.

Вот таким манером он, значит, шнырял, вынюхивал, спрашивал, а потом исчез.

Да! Исчез, и все тут. Будто его и не было. Только хрена он совсем исчез. Вот вы сейчас увидите.

Мы сперва даже немножко загрустили. Привыкли-таки. Раз собрались все, в домино стучим, и кто-то говорит:

— Интересно, куда это наш дурак задевался?

— Какой еще дурак? Толя-дурак? — не разобрался Епрев.

— Да нет, статистик.

— А-а, статистик. А я думал — Толя. Помните Толю. Приедет с веревкой на водокачку. Длинная веревка и намотанная на руке. Ему Лизка воду в кадушку льет, а он веревку разматывает. Вода налитая, веревка размотанная. И пока веревку назад не смотает — не уедет. Фиг его с места сдвинешь.

— Уж это точно, — поддержал Епрева Герберт Иванович Ревебцев. — Сильный был черт, а добрый. Одно не терпел. Мы его, пацанята, спросим: „Толя! Жениться хочешь?“ Тут он сразу нас догоняет и рвет уши.

— Рвал, рвал, — поддержали бывшие пацанята.

— А где он?

— Статистик?

— Нет, Толя.

— Толя умер.

— А-а. Точно. Толя умер. А где же статистик?

Где статистик? А вот послушайте, где статистик.

Раз Епрев получил хорошую премию и купил на ее основную часть транзисторный приемник ВЭФ-201, очень замечательной конструкции. Вышел вечером во двор и включил для молодежи современную песню:

Говорят, что некрасиво, некрасиво, некрасиво,
Отбивать девчонок у друзей своих.

А наша молодежь, блестя фиксами и тряся патлами, прыскает, потому что они во дворе все подряд перекрутились, не говоря уже об улице.

Катрин у них такая есть, так она с Ропосовым-сынком гуляла, а потом приходит к Ропосову-старика и — в слезы. Так, мол, и так. Ропосов сына — за хобот, а тот — я не я и собака не моя. А дело это заделал дворника Меджнуна племянничек Рамиз. А моя, говорит, подруга, милый папочка, — тетя Зина из „Светоч” магазина. Но она к вам жаловаться не придет, не боитесь. Рифмач! Все друг с другом перекрутились. Тьфу!

И вот кто-то из них говорит товарищу Епреву:

— Пошарь-ка, отец, на коротких. Битлов послушаем.

А Епрев — человек добрый. Он включает короткие, но и там то же самое:

Ну, а только ты с Алешкой несчастлива, несчастлива,
И любовь (что-то там такое) нас троих.

— А почему здесь то же самое? — интересуется Епрев.

— Да не базарь-ка ты, дядя Сережа, а дай нам дослушать, — отвечает молодежь, и воет, и подпевает, и качается.

Тогда Епрев, назло молодежи, передвинул рычажок, и вдруг мы все слышим ужасные следующие слова:

— В частности, обследование ряда улиц города показало, что среди его жителей очень мало славян. А на улице Достоевского, например, процент не славян достигает ста процентов.

— Это у нас-то, сукин ты сын! — взревели мы.

— Интересно, что все они, считающие себя русскими, на самом деле являются...

И тут — хрюк, волна ушла.

— Крути, Сережа, верти, Епрев, — закричали мы.

— Крути! Братья славяне, да что же это такое? Прямая обида, — закричали мы.

Крутил Епрев, вертел, лазил по эфиру, но волна оказалась уж окончательно ушедшая.

Он тогда перевел на средние, и там в одном месте была тишина и треск, а потом говорят:

— Работает „Маяк”. Сейчас на „Маяке” вальсы и мазурки Шопена.

А на кой нам, спрашивается, эти вальсы и мазурки, когда заваривается такое дело? Если всех нас, достоевцев, обвиняют, что мы — не русские. А кто ж мы тогда такие?

— Так дело не пойдет. Мы так не оставим. Надо написать, куда следует, чтоб ему указали, если он — ученый, что так себя вести нельзя. Чтоб его пристрожили, заразу, — так порешили мы.

И написали бы единодушно, если бы не Ребевцев. Он слушал, слушал, а потом повернулся и молча пошел к себе домой.

— Ты, Герберт Иванович, куда же это? А писать письмо?

— Не буду я писать письмо. Коли вы такие писатели, так вы и пишите. А я пойду спать.

Но мы попридержали его и велели объясниться.

А он уже глядел на звезды.

— Что тут объяснять, — пробурчал Ребевцов, глядя на звезды. — Вы о том не подумали, а вдруг он — ОТТУДА?

— Это еще откуда — ОТТУДА?

— А вот оттуда. Вы ж не знаете, что это был за человек, и что это была за волна. Волны разные бывают.

— Боже наш! Неужто и в самом деле мы проявили слепоту и близорукость? А вдруг он, и правда, какой шпион. Все хиханьки да хаханьки, а он — шпион, а? — зашептали мы и тоже стали глядеть на звезды.

Небо было черное, звезды — белые. А за воротами уже визжала молодежь, принявшись за свои обычные ночные штучки.

ВЕСЕЛИЕ РУСИ

Плохо кончилась для старика эта престранная история с самоубийством. Еще утром он вычитал в газете, что алкоголизм у нас уже несколько прекращается, и вся задача теперь состоит в том, чтобы выпускать вместо поллитровок „читушки” да „косушки”, прочитал, пронят был душевностью той статьи до слезы, а к вечеру взял да и опять надрался.

Это огорчило его жену, старушку Марью Египетовну, которая получала пенсии тридцать два рубля и брала постирушки от соседских квартирантов — молоденьких тонкогубчиков, по первому году служивших летчиками гражданской авиации.

Летчики вовсю занимались любовью, ходили в рестораны и на концерты, катались на такси — вот почему требовали у прачки рубах снежно-белых, с твердым крахмальным воротничком, чтобы черный галстук, впиваясь в эту белизну, давал окружающим понятие о молодцеватости, аккуратности и силе этого юного человека. Получив узел со свежим бельем, летчики напевали:

— Он, он меня приворожи-и-и-ил, па-ре-нек, паренек крылат-а-тай!

А старика привели двое собутыльников. Они прислонили его к двери, сильно постучали в окошко и убежали, опасаясь крепкого разговора с Марьей Египетовной и, кроме того, имея жгучую охоту еще где-нибудь подшибить денег да выпить, потому что были они молоды, как квартиранты-летчики, работали: один токарем, другой слесарем-сантехником, и хотели уж окончательного хмеля, чтоб ничего не было страшно.

Когда Мария Египетовна распахнула дверь, старик не упал, как надо было ожидать, а пробежал, растопырив руки, как бежит путух с отрубленной на чурке головой в последнюю секундошку перед падением и посмертной дрожью.

Пробежав, свалился на домотканную дорожку и заснул. Во сне он всхрапывал, матерился, слюнные пузыри лопались в уголках губ.

— Старая ты б... — сказала ему старуха, когда он очухался, — паскуда старая, алкоголик, нажрался, сука...

— Ты меня не сучи, — угрюмо, но робко отозвался старик. — Не на твои пил, меня ребята угостили...

— А-а, ребята! А что-то как я на улицу выйду, никто мне не под-

носит, а тебе, что вчера, что сегодня...

— Да кому ты нужна, старая проституточка, — старик никак не мог выговорить последнее слово, поэтому повторил его еще раз, — да-да — проституточка старая.

Старуха знала средство. Она распустила серые жидкие волосы, очески которых наполняли гребешок и липли на желтоватую эмаль водопроводной раковины, она завывала, заойкала, запричитала; она вспоминала свою молодость и жалела, что не вышла замуж за нэпмана Струева Григория, она билась головой о чугунные шишечки старой кровати, и соседка, накинув вигоневый платок, летела на вопли по снежной тропинке. „Ах, Марья Египетовна, бедная, вот уж наградил Господь...”

— И чего орешь, чего орешь, — медленно, заунывно начал старик, — я тебе зла не сделал, разве я тебя бил когда?

— Бил, бил, а то как не бить, — живо вскинулась Марья Египетовна.

— Эко, ну и поучил разок, дак что, один раз всего. Довела.

Махнул рукой, плюнул и побрел на улицу, потому что соседка обняла старую, что-то шептала ей на ушко.

Старик навалился грудью на калитку и тупо рассматривал искрящиеся снежинки. Прошло, давно прошло то время, когда он мог что-то вспоминать, на что-то рассчитывать, надеяться.

Если б он поднял голову, то увидел луну, а может, и искусственный спутник „Луна”, который кончиком иголки чертил черное небо, не задевая звезд.

Но он вдруг вспомнил, что есть у него в заначке бутылка „Московской”, где еще грамм триста оставалось.

Проваливаясь в сугробы, добрался до сарайчика, где раньше держали скотину, пока раньше разрешали держать в городе, а сейчас фиг с маслом там обитал.

Разрыл по-собачьи сугроб, звякнул зубами о горлышко, забулькал. Ох, хорошо.

Поначалу жалеть старуху стал. Вернулся в дом смирный, смурной, махорочки скрутил, но та уже приподнялась, ободрилась, учуяла запах свежего спиртного и по-новой завела волюнку.

— Молчать! Молчать! — завопил он, грохнув кулаком по столу, — ты меня стервоза загубила, ты меня своим писком вечным довела, что хоть в петлю лезь! И полезу. К чертовой бабушке тебя!

— Лезь, лезь. Хоть сейчас. Это тебя к чертовой бабушке!

И опять выскочил на улицу. Хмель бродил по жилам. Было весело. Сорвал бельевую веревку и к сарайчику.

Но когда уже наладил все: петлю, табуреточку, крюк — скушно помирать стало.

— Э-э, нет, — вслух сказал старик.

Он разрезал веревку на два куска. Одним обмотался вокруг пояса, из другого сделал петлю на горло и повис на стенке, как большая, мятая, трепанная и не раз теряемая кукла.

Да-да, и вы бы сказали, что он висел, как кукла, посреди того, что творилось и творится кругом.

Он висел, ожидая шагов, шума, чтобы свесить голову набок, высунуть язык и выпучить глаза.

Дождался. Старуха, у которой сердце остановилось при виде раскрытой двери сарайчика, мешкала, топотала ногами, а соседка, снедаемая любопытством, заглянула в сарайную черноту и такой вопль издала, что уже через полчаса затарахтел около дома мотор трехколесного милицкого мотоцикла и сквозь тарахтенье, пропадая в сугробах, спешил к сараю, где уже собрались разнообразные фигуры, оперуполномоченный Лутовинов.

А скорая помощь еще не приехала.

Пистолет наголо, и желтый кружок света от карманного милицкого фонаря, сделанного в Китае, уперся в искаженное лицо самоубийцы.

И уполномоченный смело, без колебаний, подошел к труп, а труп взял да и обнял его за шею, хотя, как я уже об этом говорил в самом начале, ничего хорошего из этого не вышло.

Милиционеру, бедному, стало плохо, очень плохо. Его увезли в больницу на прибывшей за самоубийцей скорой помощи. Он стонал и блевал, его кололи шприцами и совали в зубы черную пипку кислородной подушки.

А старик получил пятнадцать суток. Лутовинов сам об этом попросил слабым голосом своих товарищей, когда они, накинув поверх синих мундиров белые больничные халаты, принесли больному шоколад, ранетки и апельсины, купленные на специально отпущенные для этого казенные деньги.

Старик получил пятнадцать суток.

Днем деда водят колоть лед на проспекте Мира, а на ночь запирают в каталажку. У него уже есть два новых дружка. Один все время поет: „Пусть она крива, горбата, но червонцами богата, вот за это я ее люблю, да-да...”

А другой говорит, шепелявя:

— Скажи мне свое „фе”, и я скажу, кто ты!

Приходила как-то Марья Египетовна. Принесла мясных пирогов в целлофановом кульке. Горевала, притихла, жалела, но не особенно. А старик иной раз бормочет новым дружкам на перекуре, залепив слюной сигарку:

— Не по правде это. Я понимаю. Я раньше образованный был. Я все понимаю. В книжках еще писали — „Веселие Руси”. Я все понимаю.

МЫСЛЯЩИЙ ТРОСТНИК

Сам я — милиционер. Я был милиционер, я есть милиционер и я буду милиционер, пока не умру или не наступит коммунизм, когда меня, как должности, уже будет не надо.

В чем мне довольно сомнительно, чтобы меня когда-нибудь было не надо как должности. Порядок всегда должен соблюдаться и всегда может нарушаться. Вдруг человек, допустим, сорвет цветок с коммунистической клумбы? Впрочем, этот пример у меня неудачный, а более удачного я не могу придумать, потому что не могу представить, какие нарушения могут быть при коммунизме.

Из этого вы можете подумать, будто я не верю в коммунизм. Но тут вы ошибаетесь: было бы очень глупо с моей стороны не верить в коммунизм. Просто мне иногда очень трудно представить, как все будет: ну, вот, например, насчет нарушений. Но я верю, что не за горами оно — это наше светлое будущее, ради которого рождались и погибали различные светлые умы.

Так что я — милиционер. Нравится это кому или не нравится. И работаю я хорошо. Может, это у кого вызовет веселое зубоскальство, но я вам еще раз твердо повторяю: „Я работаю хорошо”. Если я веду алкаша в коляску, то я его веду хорошо в коляску. Вы, конечно, можете смеяться надо мной, что я хорошо веду алкаша в коляску. Ну, а почему вы его сами не ведете в коляску, допуская лежать на виду у всех, обмочившись и облевавшись, испуская нецензурную брань? А?

Или вот вы можете обидеться на меня, что я вывернул хулигану руку. Да так, что у него там что-то хрустнуло. А что как если он перед этим намахивался финским ножом и кричал, что выпустит мои кишки? Как вы думаете, мне нужны кишки или я могу перебиться без кишок? Нет, шалите. На все ваши претензии я отвечаю твердостью и на этом разговор о своей профессии прекращаю, потому что не об этом разговор.

А о том, как я получил новую квартиру и что из этого вышло.

Вообще-то мне противно все это ворошить. У меня даже кровь вскипает, особенно когда я вспомню, как они говорили: „Давайте решим это по-джентльменски”. Нашли англичанина. У меня уже перед этим раз было по-джентльменски. Ну, ладно. Начну.

Это было два года назад. Начальство мне сразу сказала, что и

новую квартиру мне не дадут. Я очень возмутился, говоря, что служу уже шесть лет и все питаюсь ихними завтраками. А начальство мне говорит:

— Ты бы особо не рыпался, товарищ Горобец! Семья у тебя многочисленная...

— Как же многочисленная? — кричу я. — Когда моя жена Людмилочка ждет ребенка, и мы с ней уже седьмой год живем у чужих людей в деревне, откуда я час и восемь минут еду на внегородском автобусе?

— А тут по документам указано, что частное владение, где вы прописаны, принадлежит твоей матери. Это как же так, Горобец?

— А вы видели это частное владение? Да знаете ли вы, что это — развалившийся сарай, где мы живем уже седьмой год. А мамочке моей разве ей не хочется под старость лет пожить в благоустроенной квартире? Поехали ко мне, посмотрим.

Но они — ни в какую. Новую квартиру мы тебе не дадим, говорят, потому что дело твое по документам запутано донельзя. Старую дадим. А ехать мы к тебе и не хотим даже, некогда нам.

Да я и сам тут особо не настаивал, потому что маменька моя домик имеет прямо надо сказать неплохой для старушки. Но стоит этот домик действительно в деревне, и от него до города ехать действительно час восемь. Вот в чем вопрос.

Вы можете сказать, что зачем я приехал в город, а не жил в деревне? На это я могу вам ответить, что приходите ко мне и я вам дам для маменьки записку, и она поселит вас у себя бесплатно до коммунизма и дальше: любуйтесь природой, нюхайте навоз. А я буду жить там, где хочется жить мне, а не вам.

Вы тут рассуждаете, как моя Людмилочка, а она — большая дура. Это я вам сразу скажу. Она не потому дура, что вся в веснушках и коротконогая. Как известно, у нас ум человека вовсе не определяется его внешними данными. Говорят, артистка Мэрилин Монро тоже была большая дура. Нет, моя дура потому дура, что она — деревенская.

Тут вы, конечно, можете после такого заявления сразу же от меня отвернуться, тихо назвав меня тоже дураком. Но я далеко не дурак, мне и инженеры говорили, что я не дурак.

А она — деревенская, и я еще раз это повторяю. В ней все отрицательные ДЕРЕВЕНСКИЕ черты. Вот именно. Не колхозные, а ДЕРЕВЕНСКИЕ.

Если б она мечтала о жизни в новой преображенной деревне, тогда — другое дело. А ей хочется в грязи сидеть и ходить по субботам в баню. Хлеб ей печь охота. Я когда инженерам об этом рассказал, то они хохотали и говорят, что это — естественная тяга. А по-моему, это не естественная тяга, а естественная глупость дуры. „Давай в деревне ос-

танемся, Василек”. Инженеры-то поди при естественной тяге отхватили себе двухкомнатную, а я остался с носом.

А вообще-то она у меня хорошая, Людмилочка. Всегда меня слушается. Правда, выше меня на голову, но мы с ней от этого не страдаем. Это я вам честно скажу.

Ну и вот. Значит, два года назад начальство мне сказал, что новую квартиру мне не дадут, а дадут старую, когда она освободится после двух инженеров, когда им дадут новую.

Я тогда естественно пошел сразу к этим самым двум инженерам по указанному адресу.

Было утро, и они оба очень удивились моему появлению, хотя ничего удивительного тут нету: просто пришел человек посмотреть, чтобы его не накололи.

А они мне оба сначала показались какие-то довольно подозрительные. Один, несмотря на раннее утро, спал в постели, вовсе не собираясь на работу. А второй и того чище — варил на электроплитке манную кашу.

Я много видел чудес, но чтобы здоровенный парень жрал с утра манную кашу — этого я, признаюсь, не видел.

Однако все объяснилось довольно просто. Тот, которого я разбудил из постели, оказалось имеет отгулы, почему и спит без продыха. А варитель манки оказалось варит ее для мамы, которую я впопыхах не заметил.

Сидела тихо на табуреточке такая седенькая старушка, почему я ее и не заметил. Довольно милая на вид старушка, но тоже возбудила у меня подозрение, однако уже по другому поводу.

А что как, мне подумалось, ее битюги с квартиры съедут, а старушку тут оставят? У подлецов тогда будет две квартиры, новая и старая, а Горобец опять жди.

— Значит, решили от мамы отдельно жить, — вроде бы пошутил я.

— Почему? — удивился битюг-кашевар. — Дом построят, и все уедем.

— А рад бы Женька-подлец от меня избавиться? — подала голос старушка.

— А то еще! Найду-ка я тебе какого старого хрена в женишки, хочешь? — отвечал подлец, снимая с плитки кашу.

— Неужели же вы хотите бросить свою мать в таком преклонном состоянии? — спросил я, дрожа.

— Еще не на то способен. Ему бы только девок водить, — ввернул второй инженер, вставая с постели.

— Яду мне хотел купить, — сообщила старушка.

Вот тут-то я и понял по природной сметливости, что граждане шутят.

Я мгновенно поддержал шутку, а инженеры стали: один — кормить мамашу, а другой — жарить на плитке колбасу, которой и меня угостили.

Я ел колбасу и осторожно осматривал квартирку, прикидывая, где мы что с Людмилочкой поставим. Огорчало, конечно, отсутствие теплого туалета. А так ничего себе была квартирка: батареи, вода холодная. Ничего, думаю, на первый раз. Потом увидим, а сейчас — ничего.

И инженеры мне понравились. Славные ребята. Они хоть шутки-то шутят, а я все равно к ним ходил каждый день. Шутки-то шутками, а вдруг найдется какой смутьян. Смутит их, подкинет деньжонок и — прощай хата Горобца.

Потому что питались они довольно скудно. Утром к ним придеешь, а они картошечку жарят. Или колбасу. Я их спросил, а они говорят:

— Мы из института первый год. Еще не взошли.

— А ты че, Саша, опять спишь? — спрашиваю я.

— У меня отгул.

— Что-то много у тебя отгулов.

Обозлился Саша.

— Сколько надо, столько и есть.

— Ну-ну, я же ничего.

А сам думаю, что, очевидно, он порядочный лодырь.

Но я опять не о том, опять отвлекаюсь.

Им должны были дать в новом доме, а дом все не сдавали. Мы все ходили смотреть на их новый дом. У них уже и ордер был. Только там все строители мудрили — то того нет, то другого. А я все опасаюсь — как бы меня эти молодые специалисты не накололи. Время от времени поднимал разговор. Я уже в открытую с ними стал.

— Так значит, мамашу вы ни в коем разе не оставляете?

Женя сердился.

— Ты же видишь — она больной человек, куда она одна?

— Мыслю, понимаю, — отвечал я, успокоившись.

— Мыслящий тростник, — говорил Саша. Этот был в очках и на турка маленько смахивал.

— Почему тростник? — спросил я всего один раз. И Саша мне объяснил какую-то чепуху религиозного содержания.

— Ты, может, баптист? — сказал я просто так, чтобы поддержать разговор.

— Нет, я православный, — пошутил Саша.

Большие они оба были шутники.

Но — все-таки съехали. Построили ихний дом. Съехали. Мамашу забрали. Я их и спрашиваю — а как вы мамашу-то потащите на пятый этаж? Вы бы просили второй. Как она у вас гулять будет?

А мамаша отвечает:

— Э-э, милый, мне теперь разницы нету. Второй, пятый. Я все равно ходить не могу. Я на балкончике посидела — мне и хорошо. А потом до пятого этажа мухи не долетают.

Очень мне им стало завидно, но я сдержался, зная, что рано или поздно и сам буду иметь подобную жилплощадь.

Короче говоря — стали они справлять новоселье. И меня пригласили. Мы так договорились — они как переедут, один сразу же возвращается и дает мне ключ.

Один тогда сразу возвратился, дал мне ключ и зовет отпраздновать новоселье.

И я послал жену Людмилочку за бутылкой водки, а сам остановил легковушку и велел нас везти.

Водитель нас и повез, а инженер удивляется, как дурачок:

— Это как же он так тебя везет за бесплатно?

— А вот так, — отвечаю я и смотрю на инженера, видя, что хоть и умный он человек, а сроду не поймет того, что я понимаю.

Славно гульнули. Один инженер играл на аккордеоне. Девки ихние тоже были хорошие. Они в эмалированном ведре сварили свиную голову с картошкой. Довольно вкусная. Порезали маленькими кусочками — и с лучком. Вкусная.

Второй инженер танцевал с моей Людмилочкой и даже к ней довольно прижимался, но я не возникал, потому что уверен в Людмилочке на все сто. Тем более, что она такая дура на этот счет, каких свет не видел. Ничего не понимает насчет этого самого дела. Со мной понимает, а больше ни с кем не понимает.

И все было бы прекрасно, кабы не случилось два несчастья.

Одно — из-за свиной головы. Они с нее мясо срезали, а свиная кость, вроде бы как челюсть, осталась.

А мы к тому времени уже были сильно пьяные, так что я никого не виню. Я, например, дошел до того, что предлагал Саше ключи от их старой квартиры и кричал, что поеду в деревню к мамаше жить на вольный воздух. А Саша сам хотел на вольный воздух и кричал, что все должны вернуться в леса. Хорош фрукт!

Но дело не в этом. Дело в том, что когда я ослабел и Людмилочка поволокла меня домой, то я, как человек самостоятельный, от нее вырвался и пошел вперед. А в это время кто-то из них сбросил с балкона свиную челюсть, и она меня ударила по голове с пятого этажа.

Хорошо еще, что у меня крепкая голова. Хорошо еще, что я закален, и челюсть просто от меня отскочила, набив шишку, а я рухнул на тротуар и был определенное время без сознания.

Но вовсе не от челюсти — в этом я уверен так же, как и в том, что они сбросили не нарочно. В этом я тоже уверен. Они не такие ребята, чтобы бросать в живого человека челюсть. Они — добрые ребята.

Они бы обругать меня могли, да и то не ругали.

Так что я встал, и Людмилочка меня повела. Но когда она меня привела, то я с ужасом увидел: пока я пировал — милую квартирку мою нахально заняли чужие люди, сломав дверь.

То есть потом выяснилось, что они были многодетная семья и исподволь присматривались, собирая сведения.

А как только все совершилось, они спокойно поломали дверь, затасив туда все свои манатки и многих детей.

Я прямо охрип. Я им до утра стучал в дверь и совестил их. Признаюсь, что допускал и нецензурные выражения. Но вы поймете меня — кусок был под носом, а его жрет другой подлец.

В суд, естественно, в суд. У меня ведь ордер на руках. Прокурор, председатель, весь суд на моей стороне, а они не уходят.

Я и к ребятам обращался, чтобы они показали, будто у них в занятой квартире осталось какое имущество. Я, например, говорю:

— А вы все оттуда забрали?

— Пиджак там старый в подполье валяется.

— Костюм?

— Пиджак.

— А ты скажи, что костюм, будь другом.

— Как же я могу сказать, что костюм, когда там пиджак.

Так мы с ним и поговорили, с интеллигентом. Интеллигент-то интеллигент, а квартирку отхватили двухкомнатную и хоть бы хны.

Короче говоря, и суд присуждал, и прокурор грозил, а они — ни в какую, нахалы. Детей выставят и держат круговую оборону. Я им тоже дверь хотел сломать, но их много, и дома всегда обязательно кто-нибудь есть. А мы с Людмилочкой оба каждый день на работе — кто нам поможет бороться?

Пришел я к начальству и, честное слово, никогда такого не было, в каких только переделках не бывал, наручные именные часы имею, а тут заплакал.

И начальство, надо справедливо признать, оказалось справедливое и пошло мне навстречу.

— Ладно, пускай этот наглец живет. А тебе мы дадим благоустроенную квартиру в Академгородке.

От этих слов слезы на моих глазах высохли, но я заплакал вторично. В этот раз уже от радости.

Правда, если честно говорить, плакать и тут тоже было особенно не от чего, потому что Академгородок отстоит от города хоть и не на час и восемь минут, но минут на тридцать отстоит. Это точно.

Зато жenuшка моя была рада. Воздух, лес кругом. Да и я тоже: все-таки воздух, лес кругом. Не то, что в городе. Там копоть оседает на легкие, и могут быть легочные заболевания.

Короче говоря — стали мы ждать опять. Шло время, и дом наш

рос. Он рос очень быстро. Это раньше дома строили по двадцать лет. Строят, строят, строят. А чего там строить? Правильно, что придумали дома лепить из блоков. Некоторые, правда, ворчат, что сквозь стенки, говорят, все слышно. Да и пускай слышно — чего скрывать, когда все кругом свои. Зато строят, как на дрожжах, и скоро все будут иметь свои отдельные квартиры. И это — точно.

Строят, строят, строят, но вот и у нас настает торжественный день, когда в бюро по распределению жилплощадей мне дают натуральный ордер, где написано, что я сам, моя Людмилочка и мамаша имеем право въезда и проживания в отдельной двухкомнатной квартире площадью 28,5 кв. м.

В пять часов вечера мне дали эту замечательную бумагу! Другой бы тихо ждал утра или вообще какого-нибудь удобного дня, но я уже ученый и переученный, почему и не стал делать подобной глупости.

Тем более, что шмотки мы увязали давным-давно. И лежали наши милые шмотки, и ждали, когда я подгоню машину и запишаю в нее все наше барахло.

А барахло у нас неплохое. Все, что надо имеем. Из очень ценных вещей — холодильник „Бирюса” и телевизор „Рассвет”. Стиральная машина, торшер, трельяж — это само собой разумеется. В общем, когда мы приехали с машиной прямо из деревни прямо в Академгородок, была уже слаболунная ночь, а освещение еще не включили.

— Как же мы будем таскать обилие вещей? — оробела моя Людмилочка.

— Утащим, слышишь, как люди таскают, — направил я ее на верный путь.

И действительно — не одни мы нашли такие умники. В слаболунной ночи во многих подъездах раздавалось сопенье и криканье. Подъезжали грузовики, тихо переговаривались люди. Вселялись.

Ну и мы тоже. Шофер помогал. Я не имел возможности угостить его водкой по случаю темного времени. Но и наглеть мне тоже не хотелось. Я ему дал пять рублей, и он остался очень доволен.

Со шкафом очень намучились. Потому что там какие-то расставили по всей лестнице этажерки, а спросить кто — невозможно. Свечки не горят, лампы не включены. Одно слово — темнота.

Свалились спать на узлах. И вот утром я просыпаюсь и смотрю на дорогие моему сердцу мои стены. Стены, как стены. Белого цвета. Я смотрю на дорогой моему сердцу мой потолок. Потолок, как потолок. Низкий. Я смотрю на дорогие моему сердцу мои двери. Двери, как двери. Открываются и закрываются.

И я подхожу к дорогому моему сердцу моему окну, и тут меня охватывает от непонимания обстановки некоторое беспокойство.

Дело в том, что квартиру нам выдали на третьем этаже, а я смо-

трю из окна и вроде бы как-то высокогато. Потолки вроде бы низкие, так что вроде бы как-то высокогато для третьего этажа.

Я вышел на лестничную площадку и увидел, что интуиция меня не обманула. Попутали мы в темноте этажи. Вместо 22-ой влетели в 26-ю квартиру.

Я тогда спустился вниз, чтобы прояснить, как обстоят дела в квартире 22. В частности, может быть, там еще никого нет, и мы спокойно, без скандала туда въедем.

Ан нет. На двери уже висит табличка „А.Н.Пидколодный”. И ниже „Н.А.Пидколодный, Ф.Х.Пидколодная”.

Оказалось, муж с женой и ихний папаша. Рабочая династия.

Я им говорю:

— Простите, но как вы попали в мою квартиру?

— Это наша квартира, — отвечают Пидколодные.

(В жар тут меня бросает, естественно.)

— Вот у меня ордер.

Показываю.

— У нас тоже ордер.

Показывают.

(Вроде бы ни хрена не понимают.)

— Так у вас же ордер на квартиру 26, четверный этаж. А вы заняли 22, второй.

— Темнота, знаете ли, — нервно засмеялись Пидколодные, — Попутали.

— Придется освободить. У меня старушка-мама. Она не может жить на четвертом этаже.

— А у нас старик-отец. Он тоже не может жить на четвертом этаже.

— Ничего подобного. Пускай живет, согласно ордеру.

— Может, вы все-таки останетесь в 26-ой квартире? Площадь-то ведь одна и планировка тоже.

— Нет, граждане, давайте выметайтесь. Коммунизм еще не наступил, чтобы я совершал такие поступки.

— Давайте, а, молодой человек?

Это я-то молодой человек?

— Давайте, молодой человек, а мы вас отблагодарим.

— Что? Взятка?

— Почему взятка? Решили это по-джентльменски. Коньячку выпьем, а жены — шампанского. Шоколаду купим.

Тут и Людмилочка подает сверху измученный голос:

— Может, черт с ними, а? Пускай живут.

Меня снова в жар бросило. Да что это за несчастья?

— Запихайте, говорю, этот ваш шоколад знаете куда?

И тут Пидколодные, сбросив фальшивую маску любезности, на-

хально заявляют:

— А мы не уйдем.

— Это как же так? — опешил я.

Хотя с моим опытом не хрен было бы удивляться.

— А вот так — не уйдем и все. Мы просили пониже. Мы право имеем.

— Права граждан определяют специальные организации, — парировал я. — Я на вас на суд подам.

И я подал на них в товарищеский суд при домоуправлении. Я выиграл дело, но они не ушли. Я подал в районный суд, но они не ушли. Я подал в городской, но они не ушли. Я им лил керосин в щели. Я повесил им с балкона дохлую собаку. Но они собаку срезали и даже не поморщились, а мне за это как-то всю ночь стучали в свой потолок, который у меня является полом.

Очень меня это огорчает, что химиков подобных развелся полный город. Ну, как с ними дальше жить? Я грущу. Я тут как-то встретил инженера Женю.

— Как дела, Женя, — говорю. — Как там Саша?

— Уехал в командировку, уехал Саша.

— Хорошо. А как здоровье матушки?

— Умерла. Умерла мама, — отвечает Женя, и голос его дрожит.

Жалко мне его стало до ужаса.

— Да, дела. Ну — хоть отмучилась. Как говорится — как ни боле-ла, а все ж померла, правда?

Это я, чтобы его подбодрить. Это вроде как шутка.

А он вздохнул и ушел.

А я решил, что подам на захватчиков и в Верховный суд, если это потребуется. До каких пор мы будем поощрять нахальство? Пускай горит земля под ногами нахалов. Пускай их судит Верховный суд!

А если и Верховный суд их не выкурит, тогда я выброшусь из окошка и оставлю записку, где напишу, что это они меня толкнули, Пидколодные. Ну, это я, конечно, шучу, но я своего добьюсь. Они у меня попляшут. Это я вам точно говорю.

СТОЛЬКО ПОКОЙНИКОВ

За 150 рублей в месяц я уже который год изучаю жуков в одном из научно-исследовательских институтов местного значения.

Работа мне нравится. Жуки не разбегаются, сидят в клетках. Иногда умирают, и нам привозят новых жуков. Тихие жуки. Вялые жуки. Бодрые жуки. Я прихожу на работу, скушав булочку с помадкой и стаканчик кофе с молоком. Надеваю халат — и скорей к жукам.

А тут у нас помер один одинокий сотрудник. Мы, посовещавшись с товарищами, организовали комиссию, чтобы похоронить его чин по чину. Коллектив пошел навстречу: были собраны немалые деньги, причем многие добавляли от себя лично, невзирая на довольно низкие ставки нашего института.

И я был направлен в морг, чтобы, произведя необходимые формальности и заплатив, подготовить тело нашего коллеги к захоронению.

А была зима. И вечер. И, знаете ли, неуютно так дул ветер и сдувал с крыш тучи снега, создавая искусственный снегопад.

А морг помещался на улице Карла Маркса.

Я толкнул калитку и по протоптанной тропе прошел к домику, светившему желтенькими окошечками.

В первой комнате было тихо и чисто. Среди сугубо медицинской обстановки, положив голову на кулаки, дремал мужчина, который потом оказался нервным.

Я в кратких выражениях объяснил ему цель своего визита.

— У вас гробы есть? — спросил я.

— У нас гробы есть, — ответил служитель, не меняя положения.

Тогда я объяснил ему, что его труд будет хорошо оплачен. Что я располагаю специальными суммами, которые будут вручены ему без каких-либо квитанций либо расписок.

При слове „суммы” глаза мужчины широко открылись. Он встал и сказал дрогнувшим голосом:

— Дак. Оно — конечно. Мы ж — люди.

— А он — сирота, — сказал я. — У него никого нету. У него была мать, но она — умерла. У него была жена, но она его бросила.

— Конечно, конечно, — бормотал служитель. И, накинув халат, стал идти в другую комнату. Я хотел последовать за ним, но он остановил меня властным жестом.

— Вам туда не надо.

— Почему? — возразил я. — Я — нормальный человек. Я сам многое пережил.

— Дух там особенный, и часто не выдерживают, — тихо сказал служитель, оглядевшись по сторонам.

Я тогда еще подумал, что определенно работа накладывает отпечаток на человека.

— Нет, знаете ли. Я — не мальчик. А потом — вы там один долго провозитесь. Разве вам легко одному его опознать?

— Уж, наверно, опознал бы, — вздохнул служитель, пропуская меня вперед.

Скажу сразу, что я ничего не помню, как там внутри все устроено. Столы помню. Освещение тусклое. Зябко. Формалин. И — дух.

— Вот этот, пожалуй, — сказал я, осторожно убрав с лица покойного простыню.

— Ну, стало быть, сделаем, — бормотал санитар и резко дернул труп за ноги.

Голова ударилась и стукнулась.

— Осторожней же вы! — невольно прикрикнул я.

А я и не знал, что санитар нервный.

Нервный санитар опустил руки по швам и расплакался.

— Вы знаете, сколько их у меня? А? Оглянитесь вокруг! Оглянитесь!

— Я не хочу оглядываться. Я вам плачу деньги, а вы делаете свое дело.

— У меня их массы. Вы знаете, сколько их у меня? И сколько всего на свете покойников? Вот мы сейчас с вами тут стоим, а на земном шаре — миллионы покойников.

— Но ведь в этот же момент родились и миллионы новых детей, — возразил я, но санитар не слушал.

— Что я могу поделать? Я стараюсь, но столько покойников! Или вот при вскрытии иногда тоже ругаются. Так ведь вы вот рыбу, например, на кухне потрошите — у вас и то... Вот возьмите, например, столовые, вы бывали в столовых на заднем дворе?

За эти слова я размахнулся и сильно дал ему в зубы. Несчастный горько зарыдал, прикрывшись рукавом серого халата.

Я обнял его за плечи и вывел из обоих помещений на воздух и мороз. Мы стояли, обнявшись, на улице Карла Маркса под звездами и тучами искусственного снега.

— Вам нужно уходить с этой работы. С вашей впечатлительностью нельзя работать на этой работе, — сказал я.

— Не могу! Не могу! — простонал санитар. — Я ничего не могу.

Впрочем, вскоре он пришел в себя. И очень аккуратно выполнил все необходимое, получив заранее оговоренное вознаграждение.

Похороны удались. Погода успокоилась. Плавно падали снежные хлопья. Голос председателя местного комитета профсоюзов дрогнул от волнения. Он бросил первую горсть.

И застучали, застучали мерзлые комья о крышку гроба нашего одинокого коллеги.

Наши женщины тихо плакали, и их можно было понять.

ШУ́ЦИН – ПУ́ЦИН

...и я, конечно, понимаю, что я очень виноват, и не снимаю с себя ответственности за случившееся, но прошу принять во внимание и тот ряд обстоятельств, в основе которых лежит то, что я только хотел **БЫТЬ ЧЕСТНЫМ**. Лишь только потому, что я хотел **БЫТЬ ЧЕСТНЫМ**, я не записался, как это некоторые у нас делают, в **КНИГЕ УХОДОВ**, что я после обеда уйду, допустим, в библиотеку читать свежеступивший информационный бюллетень на английском языке со словарем, потому что я хотел быть честным и считал, что управлюсь со всем случившимся в течение обеденного времени, потому что дел там было на пустяк, и я бы вполне с ними управился в обед, если бы не нижеприведенный ряд обстоятельств, не зависящих от моей воли и моей честности.

А дело в том, что я не отрицаю — да, я и пообедать успел во время обеденного перерыва, потому что мне **ОДИН ЧЕЛОВЕК** за пять минут до звонка занял очередь, и ровно в **13 ЧАСОВ 01 МИНУТУ** я уже ел суп, а в **13 ЧАСОВ 07 МИНУТ** я уже имел возможность покинуть нашу лабораторию, направившись в посудо-хозяйственный магазин „Саяны”. Фамилию **ТОГО ЧЕЛОВЕКА**, занявшего мне очередь, я называть не хочу и не вправе, т.к. он здесь совершенно не при чем, и я не желаю его тоже ставить под удар: достаточно того, что я сам, наверное, понесу суровое, но справедливое наказание, а тот человек совершенно не при чем, я даже скажу условно, что он не из числа сотрудников нашей лаборатории, он **СЛУЧАЙНО** занял мне очередь, я не знаю, как его зовут — и довольно с этим!

В **13 ЧАСОВ 15 МИНУТ** я уже оказался в хозяйственном отделе посудо-хозяйственного магазина „Саяны”, где меня подстерегало глубокое разочарование, о чем я в тот момент еще не знал, а напротив, был очень рад, увидев на витрине без продавца готовую к употреблению краску „Охра”, производства местной промышленности, как раз то самое, что мне и нужно было для производства ремонта полов новополученной квартиры, которую я получил „на расширение”, за что приношу глубокую благодарность нашему Местному Комитету и лично Вам, дорогой Федор Антонович, за содействие, и если Вы думаете, что я не оправдал Вашего доверия, то Вы увидите в конце этой объяснительной записки, что это совершенно не так почти на все 100%.

Потому что ровно в **13 ЧАСОВ 21 МИНУТУ** я уже выбил в кас-

се две эти банки, а в 13 ЧАСОВ 23 МИНУТЫ я уже запихивал в сетку эти две банки, и если бы все шло так же четко и слажено, как и все ранее написанное, то я бы максимум в 13 ЧАСОВ 30—32 МИНУТЫ уже оказался бы в лаборатории, где, может быть, даже и успел бы до окончания обеденного перерыва сыграть партию в шахматы, что я действительно очень люблю, но исключительно, подчеркиваю, в НЕРАБОЧЕЕ ВРЕМЯ, в отличие от тех людей, фамилии которых мне не хочется называть, которые Вы и сами прекрасно знаете, потому что Вы выступали по этому вопросу на ближайшем отчетно-выборном собрании и достаточно яркими красками описали тех, которые „рабочее время превращают в Международный турнир в Гааге”. Но дело в том, что краска оказалась НЕ ТА, потому что я, уже запихав ее в авоську, случайно бросил взгляд на серенькую, криво прилепленную бумажку и с огорчением заметил, что там написано „КРОМЕ ПОЛОВЫХ РАБОТ”. Мне мгновенно представилась в мозгу яркая картина реакции моей супруги, как я крашу полы, а потом к ним прилипает палас производства ГДР за 300 рублей. Да и не в деньгах дело: я другое представил, что мне не ковер жалко, и с Ириной мы жили душа в душу, а своего авторитета мне жалко, потому что у нас подрастает ребенок, Ваш тезка Федя, и какого он будет мнения о ВЗРОСЛОМ ОТЦЕ, если тот не может правильно сориентироваться в выборе обычной половой краски? Вы сами отец, и поэтому должны меня понять. Поэтому я пошел решительно к продавцу и стал вежливо просить, чтобы мне обменяла эту краску на настоящую. А продавец довольно грубо мне ответила, что нужно глаза не на задней части туловища иметь, но я продолжал ровно, спокойно и очень ВЕЖЛИВО настаивать на сказанном, не поддаваясь на провокацию. И она была вынуждена подписать мне обратно уже проколотый чек. После чего в 13 ЧАСОВ 31 МИНУТУ я направился в кассу, где подвергся аналогичным оскорблениям со стороны кассирши, весьма неприятной особы, повязанной крест-накрест пуховым платком, и с золотыми зубами. Эта перепалка длилась около Сорока секунд, однако она приняла испорченный чек и уже полезла в кассу за моими деньгами, когда вдруг в магазин вошли ДВОЕ НЕИЗВЕСТНЫХ: мужчина с бородой и в длинном кожаном пальто и молодая дама с ярко накрашенными до синевы пухлыми губами. Мужчина почему-то оттеснил меня и встал передо мной в кассу, но я не успел возмутиться. Потому что эта дама подошла к кассе сбоку и задала нелепейший на первый взгляд, а на самом деле очень СО СМЫСЛОМ, как потом выяснилось, вопрос: „А ЧТО ЕЩЕ ПРОДАЮТ В ВАШЕМ МАГАЗИНЕ?” Кассир от удивления свесилась вбок на нее посмотреть, и в это время бородатый мужчина сильным движением хищного зверя выхватил у ней из кассы все содержимое кассы и был таков. Я первую секунду растерялся, но тут же хотел броситься за ним вдогонку, чтобы поймать, но тут

женщина-бандит с криком, который, несмотря на его нелепость, я запомню по-видимому на долгие годы, эта женщина, с криком „ШУЦИН-ПУЦИН“, подставила мне ножку и сама тоже была такова, а я упал лицом и головой на стеклянное стекло этого магазина „Саяны“ от приданного мне подножкой ускорения, потерял сознание, после чего отчего-то оказался на улице почему-то не получив НИ ЕДИНОЙ ЦАРАПИНЫ! А было уже 13 ЧАСОВ 38 МИНУТ. Я отчетливо сознавал, что обеденный перерыв у нас в лаборатории заканчивается в 13 ЧАСОВ 45 МИНУТ, и если я не хочу потерять свое лицо хорошего производственника и общественника, то я должен НЕМЕДЛЕННО БЕЖАТЬ чазад в контору, но, к моему величайшему сожалению, КОРЫСТЬ, это тяжелое наследие капитализма и других исторически отживших систем, одержала верх над моей дисциплинированностью, и я, — эх, да что уж тут и говорить! — ВОЗВРАТИЛСЯ ОБРАТНО В МАГАЗИН! Чтобы получить причитающиеся мне мои 6 руб. 42 копейки!

Но там кассирша была уже в глубоком обмороке, отпаиваемая валерианкой, а на меня, вооружившись кто чем попало — садовыми лопатами, топором без ручки, граблями, лейками, краской, — напал весь личный состав магазина, включая редких покупателей, и загнали меня в угол, не отдавая мне моих денег, крича, что я ТОЖЕ БАНДИТ, делая угрожающие жесты самосуда. Отчего я не только безнадежно опоздал на работу, но и был приехавшими довольно быстро сотрудниками милиции ВЗЯТ ПОД СТРАЖУ, у меня отобрали шнурки, ремень, и я сейчас пишу к Вам из СИЗО — следственного изолятора, где от меня следователь, т.Взглядов, требует признания, где живет дама с накрашенными губами и кто такой был мужчина в черном кожаном пальто с бахромой, а когда я искренне говорю, что я их не знаю, то он усмехается, барабанит по столу подушечками пальцев и предлагает мне папиросу „Беломорканал“, хотя я, как Вы знаете, дорогой Федор Антонович, совсем не курю и не пью. Уважаемый Федор Антонович! Я понимаю, что доставляю Вам очень неприятные хлопоты, но я ВСЕМ СВЯТЫМ ЗАКЛИНАЮ ВАС — сделайте ЧТО-НИБУДЬ для меня, а то, мягко говоря, уж очень непривычно мне здесь сидеть. Ведь я женат, у меня подрастает ребенок. Адвокат Меерович говорит, что лучше, если бы Вы взяли меня на поруки, осудив на общем собрании мой антиобщественный поступок, но сообщив специальным письмом на имя суда, что я никогда ни в чем подобном ранее не был замечен и вряд ли являюсь преступником, я скорее всего ЖЕРТВА БДИТЕЛЬНОСТИ И НЕДИСЦИПЛИНИРОВАННОСТИ И ПОЭТОМУ МОЖНО, УЧИТЫВАЯ МОЕ ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ РАСКАЯНИЕ, ВЗЯТЬ МЕНЯ НА ПОРУКИ ИЛИ ПРИСУДИТЬ К УСЛОВНОЙ МЕРЕ НАКАЗАНИЯ. Прошу Вас, спасите меня, дорогой Федор Антонович! Я понимаю, что Вы и так для нас много сделали. Вы дали нам с Иришей светлую благоустроенную однокомнатную квартиру, под Вашим руководст-

вом я вырос от техника-лаборанта до младшего научного сотрудника. Но и я ведь тоже послужил нашему коллективу. Я не хочу заниматься ячеством, но ведь когда я был казначеем нашей профсоюзной организации, то у меня всегда и все в срок платили профсоюзные суммы, о чем было отмечено Вами на ближайшем отчетно-перевыборном собрании. Да и другие дела: я не хочу быть навязчивым, но на всех субботниках, на всех воскресниках, во всех других мероприятиях я был заводилой. А как смело, не взирая на лица, я выступал на собраниях? КОЙ-КОМУ сильно доставалось от меня, и у меня возможно есть враги из числа разгильдяев нашей лаборатории, но я очень верю, что Вы, зная меня много лет, сумеете сплотить мнение коллектива к тому, чтобы меня взяли на поруки. Я очень верю в Вас и в СПРАВЕДЛИВОСТЬ! Следовательно т.Взглядов рано или поздно поймет, что построенная им логическая схема ошибочна. Я верю в СПРАВЕДЛИВОСТЬ! И если я отсюда выберусь, то я обещаю еще с большей силой отдаваться общественной работе, может быть, даже и пропаганде правовых знаний, о чем писалось непосредственно перед моей посадкой в газете „Труд”. Федор Антонович! Помогите мне! Не оставляйте меня в беде! Мне не хотелось бы об этом писать, но эти люди, окружающие меня... Они — не люди. Они, как муравьи, лезут ко мне... Отобрали копченую колбасу... Я не хочу об этом писать, я ставлю три точки, но надеюсь, что Вы понимаете, о чем я говорю... Вот у меня уже и отбирают карандаш. До свиданья, дорогой Федор Антонович! До скорой, я надеюсь, встречи. Я надеюсь, что все будет хорошо. Я верю, что Ирина в любом случае дождетя меня. Я верю, что СПРАВЕДЛИВОСТЬ рано или поздно восторжествует. И эта ве.....

КОНЦЕНТРАЦИЯ

Письмо Н.Н.Фетисова в ХХХ век

Грядущим нашим потомкам, возможно, будет небезынтересно узнать, что и в наши дни полного равенства имелось еще некоторое расслоение, с целью чтобы не было уравниловки.

В частности, имелись, например, буфеты, куда не всякий мог взлезть. Где сверху свешивались копченые осетры и колбаса-сервилат, сгущенное молоко и шпроты сияли, минеральная вода пузырилась, сухое вино создавало долголетие, а мясо, мякоть различных сортов, обеспечивало полную стабильность жизненного уровня.

Кроме того, были выстроены различные дачи, сокрытые от нескромного глазу в зеленом полезном лесу за безвредными высокими заборами. Там, среди дорожек, засыпанных чистеньким песочком и камушками тоже кружилась определенная категория граждан, куда не всякий мог нырнуть. Они ходили в легких одеждах, читали журнал „Америка” и ничем вроде бы не отличались ни от кого из остальных.

И наконец, наряду с общими медицинскими больницами, где лежали обычные труженики, существовали больницы особые, для труженников оригинальных. Там лечились работники крупного пошиба, их жены, детки, тетки, бабушки и дядья, а также люди творческих профессий, члены творческих союзов — художники, композиторы, писатели, а также и еще какие-то люди, которых никто не знал, почему они лечатся именно тут, а не в каком-либо другом, более подходящем им по общественной ценности месте.

Замечу в скобках, что сообщаю я эти данные вовсе не из низко злопыхательства, а просто констатируя факт, как летописец Пимен, чтобы ничего не ускользнуло от всевидящего ока Истории. В тех же скобках открою, сказав честно, что и другие больницы, другие дачи, другие магазины были, может быть, лишь чуть-чуть и похуже, чем вышеописанные, но они все равно были очень даже приличные и хорошие. В них всегда имелось все необходимое, а также ночевала иногда и роскошь. Например, крабы. Так что тут все в порядке и не наблюдалось никакого антагонизма. Просто я говорю, что были вещи одни, а были вещи и другие.

Вот так: А в этих специальных заведениях — что тут удивляться — ведь там все равно лежали выходцы из того же самого НАРОДА, что осаждают по утрам общественный транспорт, а вечером стоит в очере-

ди. Так что тут мы имеем вовсе даже, наверное, и не РАССЛОЕНИЕ, как таковое, а КОНЦЕНТРАЦИЮ, здоровую по своей основе, исполнению и замыслу.

К одному такому выходцу из народа, воспитанному вместе со мной в деревне Кубеково Красноярского края, художнику Н., я и направился однажды на свидание, вооруженный опытом знания и всеми изложенными рассуждениями.

Я и пришел в эту самую специальную больницу, поражающую глаз чистотой, порядком и зеленью. Зашел, отпихнул человека в белом халате, который мне сказал: „Ты куда?“, снял пальто, повесил его на первый попавшийся гвоздь, вынул из сумки личный белый халат, домашние тапки, взял сумку и пошел по бесконечным коридорам к своему знакомому художнику Н.

А только он меня сразу же нагнал, кого я отпихнул. И опять говорит: „Вы куда, товарищ?“ Я тогда вынужден был остановиться и сказать:

— Я несу минеральную воду.

— Какую такую минеральную воду? — страшно удивился человек в белом халате и очках. В галстук, брюках черных...

— Боржом, — сказал я, отвернув от него лицо, и пошел дальше по бесконечным коридорам.

А только тот меня опять догоняет и снова теребит:

— Простите, но вы к кому идете, товарищ?

А я ему в ответ:

— Я, товарищ, несу минеральную воду одному ТОВАРИЩУ. Мне ПОЛОЖЕНО к нему ходить!

Тут-то очкастый человек и призадумался сильно, услышав, что „ТОВАРИЩ“ и „ПОЛОЖЕНО“. Но на всякий случай спросил:

— У вас и пропуск есть?

— Разумеется! — разумеется ответил я, хотя пропуска у меня никуда и никогда не было и не будет.

Тогда этот бедный человек посмотрел на меня с горьким сожалением, но, помня, в каком учреждении служит, махнул рукой и что-то шепча (по-видимому, молитву), пошел от меня прочь.

И я от него пошел прочь. Я нашел своего приятеля, художника Н., рассказал ему эту историю, и мы с ним долго смеялись. После чего я обвинил его в конформизме. Посмеялись и над этим, после чего я у него занял немного денег. Приятель обвинил в конформизме и меня, но денег дал. Так, весело хохоча, и расстались мы с моим приятелем, художником Н., воспитанным вместе со мной в деревне Кубеково Красноярского края.

Вниз я шел гордо. Внизу встретил стража, который тосковал, опершись о мраморную колонну. Он сделал вид, что не заметил меня, но когда я проходил мимо, он метнулся и ухватил за полу какого-то

другого, мужика в пиджаке, который тоже куда-то пробирался с сумкой, полной еды.

— Ты куда, товарищ? — спросил он и его. Но тот не смог ничего толком ответить, и его с позором изгнали из больницы, велев приходить в урочный день и час.

Так что вот я и повторяю, чтобы вам все стало окончательно понятно — никакого такого тогда расслоения не наблюдалось, а имелась лишь **КОНЦЕНТРАЦИЯ**, здоровая по своей основе, исполнению и замыслу.

В заключение добавлю, что я, Николай Фетисов, написавший все это, вовсе не хотел написать ничего такого, что кому-нибудь может не понравиться. Поэтому, если то, что здесь написано, кому-либо не нравится, то я эту гадость немедленно изорву на мелкие клочки. И не стану ее замуровывать для потомков в бутылку, как я это только что собрался сделать.

Изорву на мелкие клочки и развею по ветру с крутого городского обрыва, где внизу — мутная речка Кача, справа — поселок со звучным названием „Кронштадт”, слева — ведет на ГЭС бетонная супердорога, сзади — Центральное кладбище, уже закрытое для захоронений, а в небесах — синева, оком, вечность и господь Бог!

С уважением

Н.Фетисов

СЕКРЕТ И ИСТОЧНИК

Некоторые служащие нашей конторы не умеют правильно проводить свой досуг, почему и приходят на работу зеленые, как несвежая колбаса.

И на работе сидят, в томлении дожидаясь, когда же, ну когда же, наконец, прозвонит веселый звонок-освободитель и станет можно идти по домам и местам общественного пользования, чтобы в который раз попытаться организовать свой отдых и извлечь из него максимум пользы.

Как лишь стрелки больших настенных часов клонятся книзу, так эта надежда и светится в их синюшних лицах, так и таится в уголках рта, раздираемого страшной зевотой.

Мне один такой зевун, по фамилии Зебзеев, раз и говорит:

— Эх, я бы эту нашу контору! Да я бы ее взорвал динамитом, а сам поехал в Гуцулию, гонять плоты по быстрым рекам.

А другой, Алеша Кудрявцев, курильщик, накурившись в коридоре до одурения и даже прочитав вывешенную там газету „Социалистическая индустрия”, обнял меня и зашептал.

— Видимо. Видимо, я неправильно живу. Может. Может, нужно было не так? В сторожку лесную, может, нужно было? На кордон? Лесником? Глухаришек постреливать, рыбку ловить, читать Руссо, волков гонять?

— Ну, уж Руссо-то ты и сейчас можешь читать. Зачем тебе кордон?

— Не могу, — пожаловался Алеша, глаза которого вследствие мечты подернулись масляной пленкой. — Не могу, — шептал он. — Я, я, я засыпаю, читая Руссо. Вот. Вот.

И он помотал лысеющей головой.

Так мы немного поговорили с Кудрявцевым, а Зебзееву я ответил следующим образом. Я сказал:

— Ну, допустим, ты меру знай и нашу контору не трогай. Ты ведь в Гуцулию можешь поехать и без взрывов? Рассчитайся да езжай. Тебя с удовольствием уволят. Нынче не крепостное право.

А Зебзеев возражает, глядя на меня, как на идиота:

— Что же я идиот, по-твоему, чтобы увольняться и ехать неизвестно куда? Зачем же я буду ломать судьбу свою и карьеру?

Тут я ужасно разгорячился и даже сказал небольшую речь.

— Товарищи! — сказал я. — На вашем месте я бы не только не

хныкал, а даже наоборот. Я бы радовался, что я и делаю. Вам, Кудрявцев, зачем Руссо? Вам его не надо. Спите себе на здоровье. Ибо такова, стало быть, ваша планида. Одному выпадает планида работать в СЭВе, а другому, потеряв неизвестно где правый глаз, принимать от пьянчужек пальто в закусочной с египетским названием „Лотос”. Вы находитесь где-то посредине. Так что не делайте трагедии из вашего положения, а даже и наоборот — сотворите себе праздник.

А вы, Зебзеев! Эх, вы! Разве можно взрывать динамитом нашу замечательную контору, полную цифр и бумаг? Что из того, что цифры наши в дело не идут, а бумаги пылятся? Что из того? Бродят слухи, вы говорите, будто контору нашу скоро упразднят, а нас всех сократят? Что из того? Коль мы еще существуем, следовательно мы мыслим. И труд наш, как бы ни был он ничтожен, труд наш, он — благороден!

Сказал и крутанул в волнении ручку арифмометра „Феликс”.

Ропщущие приуныли и посматривали на меня со злобой.

— Браво! Браво, молодой человек! — раздался резкий и скрипучий, но вместе с тем и очень добрый голос.

Это вступил в дискуссию еще один наш сотрудник, дедушка Птичкин, пятидесяти четырех лет, любитель кефира.

— Мало того, что — браво. А во-вторых — верно. Почти верно. Вот что я вам скажу, — сказал он.

Упрямы со злобой глянули также и на него.

А дедушка Птичкин поднял палец и, не обращая внимания на их косые взоры, продолжал.

— А в-третьих, посмотрите на меня. Я оттянул в конторе уже очень много лет. Иногда мне кажется, что я служу здесь с тех пор, как проектировали Вавилонскую башню. Очень много лет.

Но я бодр, весел, румян, здоров, оптимистичен. Секрет прост, но его нужно понять. Секрет прост. Нужно только понять его, а овладеть им будет чрезвычайно легко. Я овладел. Но я не открою вам этот секрет, потому что вы не поверите мне ни за что и никогда.

— Умоляем! Умоляем! — умоляли мы.

Дедушка для приличия немного поломался.

— Скажите! Скажите! Просим! — просили мы.

— Что ж, скажу. Я не хочу прослыть эгоистом, — сдался, наконец, Птичкин.

И мы услышали краткие, странные и соблазнительные речи.

— Буду откровенен, — раскрылся дедушка Птичкин. — Дело в том, что я не всегда был счастлив, если говорить открыто. Я стал счастлив лишь с той поры, когда, благодаря правительству, у нас в стране ввели пятидневную рабочую неделю. Пятидневку. Секрет и источник моего равновесия очень прост. Я научился затормаживать субботу и воскресенье. Я научился затормаживать, и они у меня длят-

ся вечно. Я все время отдыхаю. Вот и все. Секрет прост, но его нужно понять.

Он вынул из тумбы стола початую бутылку кефира и основательно приложился. В комнате запахло дойными коровами. Мы молчали.

— Вот и все, — повторил дедушка. — Больше ничего.

— Как же это так? — удивились мы. — Нам немного непонятно.

— Вот то-то и оно, что непонятно. Понять надо, — отозвался Птичкин.

— Как же так, как же так? Что-то это какая-то чушь, по-нашему. Как же это суббота и воскресенье вечны, когда вот сейчас, например, вы сидите вместе с нами на работе?

— Так ведь суббота еще не наступила, потому и сижу.

— Вот. А раз суббота еще не наступила, значит вы еще не в своем блаженстве, или как он там у вас называется этот ваш источник?

— Вот-то и оно. Что не просто источник.

— Ну, секрет.

— И не просто секрет. А — секрет и источник. Я умею затормаживать, и вы сможете, если захочете. Но для этого нужно понять. Без понятия — никуда.

Мы приуныли.

— Посмотрите на меня! — вещал Птичкин. — Я бодр, весел, румян, здоров, оптимистичен. Это ли не доказательство того, что я не лгу. А? Я подковы гнуть могу. Дайте мне подкову, и я ее согну.

Но у нас не было подковы. Мы приуныли.

А он разволновался. Он проглотил оставшийся кефир и очень волновался.

— Не верите. Ну, хорошо! Смотрите.

И дедушка Птичкин, немного побряхтывая, свободно встал на руки.

Мы трое, разинув в немом изумлении рты, смотрели на него. Да! Крыть было нечем. Он стоял на руках, как на ногах.

Птичкин стар, но кожа у него гладкая и розовая. Плечи нет и в помине, зато имеется благородная седина. Птичкин носит синий костюм и чистую белую рубашку. Он одинок. Его жена умерла. Он вдов и очень любит свою маленькую внучку, о которой всегда вспоминает с нежностью. Он покупает ей мороженое и игрушки. Однажды я видел, как он гулял с ней по набережной вдоль Енисея. Девочка бросала в воду камушки.

— Черт его знает! Надо, однако, действительно подумать и постараться понять, говорили мы друг другу, толпясь у двери, прикуривая папиросы и явно проникаясь доверием к словам нашего старшего товарища.

Лицо которого от напряжения постепенно наливалось кровью.

ЗАЧЕМ БЫЛ ШАШКО?

Я холоден. Я трезв и выдержан. Я купил себе финский вельветовый пиджак. Дамы говорят, что он мне сильно идет.

Но когда я пришел домой, то сразу обнаружил присутствие в квартире постороннего. Я задернул плотные шторы своего первого этажа, и меня вдруг поразила жуткая сиреневость их. В ванной булькало, на кухне потрескивало, и я вдруг почувствовал, что весь взмок от ужаса.

Обернувшись, я увидел, что на телевизоре сидит и молча смотрит на меня отвратительное живое существо, в котором я тут же признал мохнатого черта Шашко.

Да, это был он, Шашко: маленький алый ротик с желтым клювом, коричневая мохнатая шкура, омерзительный толстый хвост, похожий на змею. Безо всякого сомнения это был он, Шашко. Похожий на собаку и похожий на кошку, ушастый, настороженный, он молча смотрел на меня и ухмылялся.

Я перекрестил его, но, видать, слаб я был в вере. Шашко лишь съезжился, как от сильного ветра, и вроде бы даже поднял воротник, надвинул на глаза берет, спасаясь от ветра и дождя веры, но... остался на месте, на телевизоре „Кварц” с громадным экраном (цветным).

Чтобы не сойти с ума, нужно было бороться. Я, стараясь не оказаться к нему спиной, попятился в кухню и схватил топор, который остался у меня со времен проживания в шлаконасыпном бараке с печкой и дровами. На новой квартире я этим топором отбивал говяжьих бифштексы. А квартиру я построил после разрыва с женой, сначала сильно бедствуя, но затем получив громадный гонорар за трижды переизданную и распечатанную по газетам и журналам книгу, имеющую, клянусь вам! — к религии косвенное отношение, а практически и вовсе к ней отношения не имеющую, касающуюся ее, религию, лишь самым крайним бочком, ровно настолько, насколько это требовалось для проходимости. Кто с этим сталкивался, тот знает, о чем я говорю...

Я чувствовал, как нависли надо мной остальные пятнадцать этажей нашего шестнадцатизэтажного дома. Я взмахнул топором, желая раз и навсегда расколоть ненавистный череп. Ударил взрыв — это взорвался кинескоп. Взрывной волной я был отшвырнут на пол, а когда поднялся, то увидел, что черт сидит на плоской верхушке мое-

го нового платяного шкафа, эстонской работы, матового дерева. Я шугнул Шашко, и он, сделав свинскую гримасу, прилепился с боку шкафа, как пиявка. Я снова ударил топором и, конечно же, опять промазал.

— А что это ты меня так боишься, а? — громко спросил я его. — Значит, тебе есть, отчего меня бояться? Значит, ты слаб? Отвечай, если ты честен, и выходи со мной на честный поединок. Ключу меня, если можешь, ключом, а я попытаюсь тебя убить.

Шашко уныло посветил мне зелененькими глазками и перепрыгнул на электрическую пишущую машинку.

А я вдруг заметил, как странно, аккуратно и бережно подволакивает он свой длинный хвост, и внезапно понял все: сила его в этом хвосте, в хвосте конечно же — не зря он подволакивает его столь аккуратно и бережно.

Я сделал вид, что взмахнул топором, взятым в правую руку, а сам сделал выпад (как при фехтовании, когда я в возрасте десяти лет занимался фехтованием в спортивной секции, и это был наш город К. ... зимой... в кедах... тренер Игорь Константинович и его тощая жена, тренерша... „Рапиристы, шаг вперед!“).

А черт вынул увесистую пачку денег, где превалировали красные десятки, и предложил ее мне.

— Что?! Ты мою душу пришел покупать? Ты что? Думаешь, что я продался, что я продаюсь? — бормотал я.

Мне повезло. Я с первого раза цепко ухватил его за толстый нечистый хвост. Шашко завизжал, как визжит палец по мокрому стеклу... Он взлетел в воздух и стал отрываться от хвоста, как взбесившийся воздушный шар. Но он уже чувствовал, что ему приходит конец. Я отбросил топор и тупым кухонным ножиком долго отпиливал хвост. Сразу же выступила кровь. Шашко верещал от боли и пытался клевать меня клювиком, но я пилил и драл хвост, и вот, наконец, я выдрал хвост, и хлынула черная кровь, заливая мне руки, манжеты сорочки. Шашко взлетел к потолку, оставив на нем темное продолговатое пятно, а потом, снижаясь и заваливаясь, глухо шмякнулся на пол. Как сырое мясо. Дернулся разок-другой и затих. И от него тут же потянуло гнилью. Засмердил Шашко, как... Нет, не хочу приводить это сравнение, ибо оно крайне незстетично.

Я перевел дух и подставил голову под струю холодной воды. Было уже двенадцать часов дня, и надо было как-то решать с трупом. Для начала я переменял рубашку, залитую нечистой кровью, гноем, и тщательно, с мылом, вымыл руки, лицо. Даже зачем-то принял душ. Я распотрошил громадный тюк старых газет, приготовленных для сдачи „на макулатуру“, завернул туда труп Шашко, не забыв вложить оторванный хвост, окровавленную рубашку. Получился увесистый сверток, килограмм эдак на двадцать. По крайней мере я не мог дер-

жать его в вытянутых руках и прижимал сверток к сердцу.

С чертом на сердце я и вышел на лестницу нашего подъезда, но мне сразу же пришлось отступить, потому что сверху топала в своих модных, чуть ли не кавалерийских сапогах, эта стерва Богоявленская, жена Цветанова и блядь, каких свет не видел. Вульгарная, навязчивая, она вечно лезла ко мне в квартиру, и я думаю, что не только от того, что я живу на первом этаже и моя квартира расположена в непосредственной близости от лифта.

— Александр Эдуардович! — крикнула она, но я успел отступить и затаиться за дверь.

Эта стерва немного потопталась перед моей дверью и даже позвонила в звонок. Знаю я эти штучки! Будьте покойны — знаю! У меня было три жены, одна другой сучистее, и я знаю эти штучки! Через дверь проникал запах ее духов, удивительно гармонирующий с Шашковской гнилью. Я шевельнул ноздрями.

Когда я снова выглянул, лестница была пуста, и я смело прокрался к мусоропроводу. Но, о Боже! Надежда на мгновенное избавление от нечисти исчезла мгновенно. Сверток был слишком громоздок и не помещался в мусоропровод.

В отчаянии я возвратился в квартиру, швырнул сверток на паркет и долго стоял над ним, близкий к безумию. До сих пор не могу понять, как я не догадался вынести сверток на улицу или подбросить его куда-нибудь. Нет! Я снова схватил топор и разрубил сверток на четыре части. У Шашко оказались большие крепкие кости, а мой топор был, конечно, тупой, зазубренный. Я очень намучился, но я все же разрубил Шашко на четыре аккуратные части, сделал четыре аккуратных свертка и таким образом избавился, наконец, от ненавистного существа.

Потом я долго сидел в сумасшедшем доме. И, да, да, — я знаю, что я сильно пил и допился до „белой горячки”. Когда меня привезли домой на пятый день после поступления, чтобы взять деньги и документы, я увидел разоренную квартиру, битый в щепы шкаф, сорванные занавески. Я все понимаю, я знаю, что я сильно пил и был болен, галлюцинировал, но скажите — почему так плоско и бледно все вокруг, а хвост Шашко был упруг и горяч, глаза его горели, изо рта несло гнилью? Ответьте мне, зачем БЫЛ Шашко, когда на самом деле его никогда не было и не могло быть? Скажите, почему реальный мир ирреальнее, чем ирреальный, и лица прохожих объаты осмысленным ужасом и бессмысленной радостью? Объясните мне, зачем наличествуют Гоголь, Гитлер, Брейгель, Гофман, Свифт, Сталин?

Я отнюдь не болен. Я окончательно вылечен. Я — холоден, я — трезв, я — выдержан. Я купил себе финский вельветовый пиджак. Дамы говорят, что он мне сильно идет, и на одной из них я женюсь.

Но скажите, скажите, я умоляю, скажите мне — зачем был Шашко? А впрочем, что вы мне можете сказать? Я сам вам все, что угодно, могу сказать, и чего там говорить, когда и так все понятно.

ГЛАЗ БОЖИЙ

Я зашел к скульптору Киштаханову. Он метался по мастерской, распиная пустые бутылки. Из угла молча глядел его полоумный помощник, форматор и каменотес Николай Климас, бывший латыш. В мастерской было пыльно и душно.

— Я не пью кипяченую воду, — сказал Климас, — потому что в ней нет никаких витаминов и жизнотворных бактерий, но я не пью и сырую воду, потому что в ней могут быть болезнетворные бактерии, вредные микробы...

Он выдержал паузу.

— Однако, я нашел блестящий выход. Я наливаю воду в бутылки по дням. У меня десять бутылок. Я выдерживаю паузу в десять дней и на одиннадцатый день я пью воду десятидневной давности. В которой нет болезнетворных бактерий, вредных миробов, а есть всякие витамины и жезнетворные бактерии...

— В рот все твои бутылки, пидарас! — распорядился скульптор, и Климас покорно стих, скорчился в углу, раскачивался и корячился, ковыряясь в носу и разглядывая проходящие за окном ноги прохожих.

— Я, конечно, не ожидал чего-либо особо выдающегося, — говорил между тем Киштаханов. — Ты не хуже меня знаешь, как эти бюрократы относятся к нам, людям искусства, но все-таки ведь можно же было хотя бы такт соблюсти, хотя бы перед иностранными товарищами соблюсти такт! Ведь они черт знает что могут подумать об отношении наших бюрократов к нам, людям искусства. Хотя и эти... геноссе, тоже хороши! — вдруг вспыхнул он. — Культурные люди, западные, свободные, раскованные. Могли бы хоть как-то... хоть немного... хоть какой-то интерес проявить, что ли? Тоже порядочное хамло!..

— Я когда служил в армии, — сказал Климас, — то меня там сильно допекал пидарас-старшина, хохол. Он меня дразнил латышом, хотя я ему объяснял, что я — бывший латыш. То есть я был латыш, потому что меня из детдома усыновили латыши после войны. А потом они меня выгнали из дому, когда я занялся пьянством и воровством. И я тогда узнал, что я — русский, сын русских неизвестных родителей. Я от старшины стал косить и оказался в госпитале. Там нас лежало в палате двадцать рыл, и один грузин все кричал: „Держись, ребята, скоро мне придет волшебная трава из аула, накуримся той травы и

все от маршала Гречки отвалим. Так оно и вышло. Все отвалили. Как в воду глядел кацо, и действительно волшебная оказалась та трава. Всех комиссовали подчистую. Меня год еще потом припадки били, и кровь из носу шла. А какая это трава, большой секрет, говорил грузин. А большие секреты, говорил грузин, стоят больших денег, всегда говорил грузин. Звали его Николай, как русского. Может, он и был русский?..

...А дело заключалось вот в чем. Дело заключалось в том, что наш город К., впервые, пожалуй, за многие годы его пореволюционного существования вдруг посетила большая группа коммунистических иностранных товарищей, граждан одной из западных стран, еще не перешедших к социализму.

Это событие сильно взбудоражило город. Потому что до этого дружеского визита наш город лишь крайне редко посещали отдельные иностранцы. И то лишь — важные общественно-политические деятели братских стран лагеря социализма и развивающихся стран — товарищи Мандевиль Махур, Вальтер Ульбрихт, Фидель Кастро и другие товарищи. И то лишь — товарищи Фидель Кастро и Мандевиль Махур лишь приземлялись в аэропорту, где ели стерляжью уху, а товарищ Вальтер Ульбрихт проехал через город на ГЭС, и на пути его следования из аэропорта был выстроен за одну ночь забор, скрывающий от глаз товарища, низко сидящего в машине, гнусные деревянные строения самостройщиков Убойной улицы. Эти самостройщики, ставшие от жизненных невзгод и пьянства чрезвычайно острыми на язык, тут же окрестили новый забор, крашенный масляной зеленой краской, забором имени товарища Вальтера Ульбрихта. Еще наш город К. посещали на моей памяти подряд, но в разные годы — Берия, Каганович, Маленков, Хрущев, Подгорный, Брежнев, но это уже свои товарищи, отечественные, а отнюдь не иностранные, о которых собственно и пойдет речь.

Скульптура Киштаханова позвали ТУДА, сказали, чтобы он завтра без фокусов надел свой лучший костюм с галстуком и белой сорочкой, состриг без фокусов патлы, привел в порядок бороду и находился в два часа пополудни у памятника Вождю, который будут осматривать иностранные гости, и им, возможно, что-то понадобится уточнить по художественно-скульптурной части, для чего и должен присутствовать близ памятника он, Киштаханов, которому довольно еще молодому человеку оказывается важное доверие. Без фокусов.

— А когда мой проект памятника Вождю победил на Всесоюзном закрытом конкурсе аналогичной темы, они его взяли, да? — жаловался Киштаханов. — Они эту московскую сволочь пригласили, старого подонка! Они плевать на меня хотели! Они скульптуру реки Е. не хотят устанавливать, символически изображающую реку Е., а тут я им, видите ли, понадобился, чичисбей!

— Это что такое значит, чичисбей? — спросил Климас.

— Цыц! — взвизгнул скульптор.

— Я знаю асмодей, а не чичисбей, — сказал Климас.

— Чичисбей — это который у итальянцев за границей сопровождает молодоженов, когда они путешествуют в медовый месяц, — успокоил я Климаса.

— Я стоял на дикой жаре, в идиотском черном костюме и страшно злился, потому что зарубежные революционеры все никак не появлялись. Неподалеку от меня скучали два друга: полковник милиции и инструктор. Они, хихикая, пихали друг друга в тугие животы.

— Стол на восемьдесят персон, — вполголоса сообщал инструктор. — Ох, Федька, Федька! Бывал я... где только... но я тебе скажу, я тебе скажу... — он зачмокал, заоблизывался, затряс пухлыми пальцами.

К ним подошел скромный юноша с комсомольским значком.

— Пионеры построены, Федор Мелитонович! — весело, с живинкой в стальных глазах, доложил он.

— Добро! — сказал полковник. — Я тебе даю сигнал, и они все тогда пускай шуруют, поют. А пока ты им скомандуй „вольно”, чтоб они у тебя в обморок на такой жаре не попадали.

— Вольно! — гаркнул комсомолец.

Дети радостно зашуршали и стали прыгать на одной ножке.

— Кажись, идут, — сказал инструктор.

— Хрен-то, — спокойно возразил полковник.

На массивную галерею второго этажа Крупного Дома высыпали неразличимые издали люди в пестрых рубашках. Среди них черным пятном выделялась женщина — по-видимому это была сама Ефросинья Матвеевна Дукеева. Она держала руку по направлению к памятнику в позе Вождя, увековеченного этим памятником.

— Но — готовь! — уточнил полковник.

И тут лицо его задрожало от ужаса. Он надулся, распух, посинел, замахал инструктору:

— Смотри, смотри!..

Вокруг памятника оказалась бегающей неотловленная собачниками дворняжка со слипшейся шерстью, коротконогая, агрессивная.

— Прогони собаку! — наступал на инструктора полковник.

— Ыть! Ыть! — наступал на собаку инструктор.

Собака зарычала и ощерилась. Полковник и инструктор отпрянули. Собака подняла ногу, пукнула, поджала уши и медленно затрусила прочь.

В суматохе мы и не заметили, что процессия гостей оказалась уж совсем почти рядом!

— Мардак! Мардак, скотина! — зашипел-закричал полковник комсомольцу.

А тот совсем не слышал его, поскольку вступил в соблазнительную беседу с пышнотелой девкой в синих джинсах и красной майке с выпирающей надписью „Ай эм секси“, отчего и пионеры совсем рассыпались, а двое из них, кажется, дрались.

Ефросинья Матвеевна зло улыбалась в своем черном пиджаке с пышным накрахмаленным жабо. Вокруг Ефросиньи Матвеевны сгрудились люди, похожие на состарившихся стилиг пятидесятых, блаженной памяти, годов: замшевая обувь, джинсы, вельвет...

— Это — памятник Вождю, — сказала Ефросинья Матвеевна. — А это — наш молодой товарищ, молодой скульптор Киштаханов.

— О, ия, ия!.. Натюрлих! Вери интерес, — загалдели коммунисты.

— Чао, гуд дэй, фройнштадт, товарищи, — начал я. — Это — памятник Вождю, он сделан из гранита, высота его...

Но тут шипенье полковника достигло-таки ушей Мардака, он спохватился, быстро выстроил своих и сдуру велел им грянуть.

Они и грянули своими детскими, неокрепшими голосами:

Аванта пополо (далее не помню)

Тут тоже не помню.

Тут тоже не помню.

А припев помню:

Бандера росса.

Бандера росса.

— О-о! — гости немедленно бросили меня и окружили пионеров. И пионеры окружили их. Гости щекотали детей, подбрасывали их в воздух, дарили им значки и жевательную резинку. И всем им было хорошо. Умильно улыбаясь, глядели на эту счастливую картину Мардак, Федор Мелитонович, инструктор и Фроська. Я тоже умильно улыбался.

— Ну, дети, отпускайте своих гостей, — распорядилась Дукеева. — Им пора подкрепиться.

Но оказалось, что еще не все дети получили значки и жевательную резинку. Они кричали, что они не все получили значки и жевательную резинку, что они все хотят получить значки и жевательную резинку. Однако Мардак быстро пресек развитие их низкопоклонства перед Западом, и дети снова затаили „Бандеру россу“, заколотили в барабаны. Бесшумно подкатили черные машины. Дети стройными шеренгами удалялись вдаль. Я остался на площади один.

— Как так один? — изумился я.

— А вот так. Один, если не считать Вождя, — злобно сказал скульптор. — Один, будто я им уже не человек, будто это не я получил пер-

вое место на Всесоюзном закрытом конкурсе, будто это не я являюсь самым перспективным среди молодых скульпторов нашего Худфонда, о чем они сами же везде трубят, будто не моего „реку Е.” уже который год собираются установить на Стрелке.

— Да они про тебя просто забыли в суматохе, — предположил я.

— Как будто я пожру у них всю икру, — не слушал меня скульптор. — В гробу я видал ихнюю икру. Мне с европейцами хотелось пообщаться, спросить, как там Джакомо Манцу, Ренато Гуттузо, Пикассо...

— А ты бы взял да и сам туда пошел, своим ходом, это ведь рядом, — предложил я.

— Ну уж нет! — Киштаханов надменно усмехнулся. — Этого ИМ от меня никогда не дожидаться! Никогда! Чтоб я бегал за подачками? Я знаю себе цену, и мне нет нужды вымаливать у НИХ подачки...

Я расхохотался. Скульптор все еще сердито хмурился, но потом не выдержал и тоже улыбнулся.

— Формализм-мамализм. Пстракционизм-модернизм, кзистинцилизм, — сказал он. — Эта дура была в Венеции и собрала на доклад „творческую интеллигенцию”, то есть нас. „Что ж, товарищи, хороша, хороша Венеция, красива, красива, — скорбно говорила она. — Есть там дворцы, есть там и музеи, базилики есть... Но, товарищи, но ведь, товарищи, но ведь, но ведь — все это, товарищи, это все В ВОДЕ!!! Представляете, какой ужас!” Володька Фагин не выдержал и захохотал, а она говорит: „Нет, товарищи, может, кто-нибудь не верит, но ведь ЭТО и на самом деле ВСЕ В ВОДЕ...” Дура!

— А вот меня раз одна еврейка позвала делать памятник ее покойному мужу, — начал было Климас. — А муж у нее был тоже „бандера”, то есть — бендеровец. Но — неразоблаченный...

— А ну, Климас, — сделав строгое лицо, приказал скульптор. — Быстро! Ноги-в-руки и — бегом в магазин!

— Все я да я, — ворчал Климас, собирая в сетку пустую посуду. — Я тоже равноправный человек, такой же, как и вы. Давайте тогда бросать морского, кому идти, а то я не пойду...

— Не пойдешь? Морского ты хочешь? — холодно посмотрел на него скульптор. — А линьков ты не хочешь?

— Бычков в томате? — спросил Климас.

— Не бычков в томате, а линьков по жопе, — сказал Киштаханов.

— Это еще которые линьки? — бормотал Климас. — Есть бычки в томате, есть снеток. Но снетка уже занесли в Красную книгу вымирающих животных, как водку по три шестьдесят две, потому что его уже всего начисто пожрали. А линьков, это я не знаю, которые линьки. Я предлагал на пальцах бросить морского, погадать, кому выпадет идти, чтобы по-честному...

— Линьки — это веревки для корабельных снастей, которыми в

царском флоте драли матросов, — пояснил я.

— Врешь, — сказал Климас. — Со мной в палате лежал матрос и он ничего не говорил, ни про какие линьки.

— Да в царском же, в царском флоте, тебе говорят, дубина стоевая, — рассердился я.

— Ты идешь или нет, аспид ты, змей, курва, храпидол! — рассердился скульптор.

— Да ведь иду же я, иду, чего вы обои ко мне пристали! — плаксиво заныл Климас, гремя пустой посудой. — Аспиды, асмодеи, храпидолы, бандеры, курвы, пидарасы...

Скульптор в сердцах плюнул на пол. Климас укоризненно на него посмотрел. Скульптор отвел глаза и растер плевком подошвой. Я закурил и устроился поудобнее.

P.S. Когда Климас возвратился с вином, лицо его было белым от ужаса.

— Там я шел мимо стройки, там в дощатом тротуаре около стройки есть сучок, и из него торчит глаз, — сказал он.

— Ладно, не воняй! — грубо перебил его скульптор. — Вино давай, вина купил?

Климас неожиданно рухнул перед ним на колени.

— Вина я купил, — сказал он. — Но я не вру и умоляю мне верить. Там есть глаз. Это, наверное, глаз божий.

— Да иди ты... — замахнулся на него Киштаханов, но его подручный забился и зарыдал.

Мы выпили, и нам стало жаль бедного больного. Мы заставили его выпить и согласились пойти посмотреть на глаз.

К своему ужасу мы увидели, что глаз действительно существует. Глаз действительно наличествовал в сучке деревянного тротуара близ новостройки. Глаз был карий, с поволокой. Глаз моргал. Климас снова закричал, я перекрестился, а Киштаханов, склонный к материализму, заглянул под тротуар и изумленно спросил:

— Эй, мужик! Ты как ухитрился под тротуар влезть?

— Цыц вы! Увидели, так и не мешайте мне, суки! Я девчонкам под юбки смотрю, они многие ходят без трусов, — прошипел глаз.

— Это — половой извращенец, ребята. Он, наверное, из лагеря вышел, мне лагерники рассказывали, что там бывают такие штукарки, — пояснил я.

— Тьфу, мразь! — сплюнул Киштаханов.

— Вот пидарас, — печально сказал Климас. — Пидарас ты, пидарас, — обратился он к глазу.

— Иди на хер, — сказал глаз.

ВОСХОЖДЕНИЕ

В моем родном городе К., который, как известно, протяженно раскинулся по двум берегам могучей сибирской реки Е., недавно произошли крупные, но радостные волнения, связанные с тем, что этому городу исполнился недавно 421 год.

Игралась оркестрами музыка, лопались фейерверки, образуя в небе огненные букеты, гулялось группами народа по преображенным мостовым бывшей Преображенской площади, по другим площадям, улицам, скверам, паркам, площадкам, но памятник, символически изображающий богатыря-красавицу реку Е., вовремя не был установлен, и это — халтура потому что и слабая материальная база местного отделения Художественного Фонда.

Немного о памятнике или, если профессиональнее выразиться, о скульптурной композиции, однофигурной, материал — бетон, символизирующей богатырское прошлое и счастливое настоящее могучей сибирской реки Е. Этот памятник получил первое место на конкурсе памятников указанной темы еще очень давно, еще тогда, когда моему родному городу К. исполнился отнюдь не 421 год, а 408 или 411, не помню точно, потому что совершенно вылетело из головы.

Он был, этот памятник, всем хорош за исключением того, что изображал он (тогда еще — модель в глине) женоподобного молодца с выпирающими даже вроде бы не столько мускулами, сколько вроде бы даже какими-то титьками, с обширными ляжками. Но это, скорей, на взгляд развратников, подобных нижеописываемому, а так — вполне очень мужественный вышел этот юноша, символизирующий реку Е., сидел на карачках, положив на толстые кулаки широкую морду. Композицию эту создал скульптор Киштаханов и получил за нее первую премию. И хотя несколько бабоват оказался молодец, но скульптор Киштаханов все же получил за него первую премию, и решением горисполкома было решено установить скульптуру на так называемой Стрелке. Там, где в реку Е. впадала протока, намыв широкую и просторную галечную возвышенность, там и должна была упокоиться однофигурная скульптурная композиция, а короче — памятник, символизирующий богатырское прошлое реки Е., с отражением счастливого настоящего, трудовыми свершениями молодежи, буднями и праздниками, материал — бетон, высота 18 метров (четырёхэтажный дом старой планировки).

Но перед этим было много волокиты, это — халтура потому что, вследствие бюрократизма, слабой заинтересованности старого руководства, справедливо раскритикованного на одном из областных пленумов, слабой материальной базы местного отделения Художественного Фонда.

В частности, был страшный случай. На мелких хозяйственных работах в местном отделении Художественного Фонда обычно работали солдаты-каторжники, посаженные „на губу”, так как рядом с Художественным Фондом помещалась городская военная комендатура, один из чинов которой, капитан Гриша, с неизвестной фамилией, но лицом очень похожий на покойного космонавта Гагарина (из-за чего у него даже были неприятности), страшно любил пьянствовать с художниками, поражаясь широте их размаха. Пил он также и с завхозами местного отделения Художественного Фонда, за что и уступал им солдат, которым все равно было — улицу ль им мести метлой около комендатуры или месить глину для ваяния, потому что они провинились, о чем и писали огрызком кирпича на железных воротах Художественного Фонда во время перекура: „МЫ — СУКИ”.

К сожалению, очередной завхоз (а менялись они весьма часто, ввиду низких ставок заработной платы и слабой возможности чего-нибудь украсть), пошел отнюдь не по линии созидания, то есть наибольшего сопротивления, а по линии разрушения, как Мао Цзе-дун. Он велел штрафникам вытащить из сарая, расколотить и свезти на городскую свалку какие-то разрушающиеся, местами зазеленевшие бетонные чушки, чтобы увеличить площадь складских помещений местного отделения Художественного Фонда и заслужить тем самым похвалу вышестоящего начальства. Один солдат надорвался во время тяжелой этой работы, и у него пошла горлом кровь, а разрушающиеся бетонные чушки оказались разрушающимися, зазеленевшими, частично отформованными кусками скульптуры „Е”, которую солдаты, под руководством дурака-завхоза, разрушили всю.

Скульптор Киштаханов рыдал и ударил завхоза наотмашь по лицу. Уже истрачено было 9 тыс. 700 рублей государственных денег, и только волокита и слабая материальная база местного отделения Художественного Фонда уже который год мешали творцу закончить формовку скульптуры, о которой он и сам, порой, начинал забывать, что такая есть. Мерзавца уволили и говорили, что он пускай скажет „спасибо”, что его не отдали под суд для взыскания девяти тысяч семисот рублей. Завхоз напился и в присутствии капитана Гриши обозвал скульптора Киштаханова евреем, хотя тот был всю жизнь чистокровный хакас и к упомянутой национальности не имел ровным счетом никакого отношения.

Хорошо еще, что хоть сохранилась рассыхающаяся глиняная модель в новой мастерской скульптора, который к этому времени из мо-

лодого, никому неизвестного таланта вырос до секретаря местного отделения Союза Художников, часто выступал с докладами, и ему дали в аренду (выделили) громадную двухэтажную мастерскую общей полезной площадью около 160 кв.м., где и началась повторная формовка в натуральную величину новой глиняной модели, созданной после обновления и реставрации старой. Началась! Формовка началась, потому что близился наш славный юбилей. 421 год моему родному городу был уже не за горами, и на памятник возлагались определенные функции и надежды.

Большие надежды! В частности, загодя была выпущена фотография с модели в виде цветной почтовой открытки, символизирующей богатырское прошлое могучей сибирской реки Е., а обложку местного литературно-художественного журнала, который носил все то же название „Е.“, украсило графическое изображение абриса все той же модели, изображающей развратного на вид (с точки зрения, подчеркиваю, развратника!) молодца, символизирующего богатырское прошлое и счастливое настоящее могучей сибирской реки Е., с отражением, как в капле воды, трудовых свершений, с буднями и праздниками, оркестрами музыки, фейерверками, добросовестным отношением, дружбой и любовью, задорной песней, авиацией и космонавтикой, научно-технической революцией, экологией и гуманизмом.

— Нет, все-таки ради этих минут, секунд стоит жить и работать, — шептал Киштаханов, когда после всех волнений, неувязок, злоключений, не поспев к указанному сроку праздника, с опозданием больше, чем на месяц, при скоплении народа гораздо меньшем, чем если бы все было исполнено вовремя, покрывало полетело вниз с восемнадцатиметровой высоты — громадное серое облако материи, и даже неизвестно, куда девали его потом, это покрывало. Наверное, хранится где-нибудь специально для еще какого-нибудь памятника или же материю пустили на панно и плакаты по наглядной агитации.

Теплоходы, проходя теперь мимо Стрелки, приветствовали памятник протяжными гудками, туристы, едущие в Ледовитый Океан, всю фотографиовали его, высыпая на палубы, но однажды из Тбилиси приехал в наш город один из известнейших на всю страну гомосексуалистов. Сам он был по образованию литературовед, и ему по службе попался однажды этот номер местного литературно-художественного журнала „Е.“, с символическим изображением на обложке могучего юноши Е. В которого он тотчас, разумеется, влюбился.

Потому что в последнее время он испытывал столь сильный кризис своих склонностей, что даже стал всерьез задаваться вопросом: „Да любовь ли в самом деле это, отчего я жегся, задыхался и страдал всю свою сознательную жизнь?“ Он даже пустился в разврат и некоторое время жил с пустой раковиной, крымской „Рапеной“, ублажая ее

фальшиво блестящее нутро душистым кремом „Шарм” и французскими духами „Сава”. Но однажды он как бы очнулся от сна — ему стало так стыдно, так горько от своей пошлости, что он выкинул негодяйку в окно, сел в самолет и явился в наш город К.

На город, на широкую и просторную галечную возвышенность, на весь окружающий мир пал густой туман, когда он начал восхождение. Он рассчитал, что рот юноши находится на высоте не всех пятнадцати метров, а на высоте метров, эдак, девяти-десяти. Пал густой туман. В густом тумане аукались речные суда, несущие по древней сибирской реке с богатым прошлым и баснословным будущим свой трудовой груз и каюты, полные пассажиров. Бетонная осклизлая прохлада приятно холодила ступни босых ног гомосексуалиста.

И — луч! Красный луч восходящего с Востока солнца, проткнувший туман, вдруг резанул его по глазам, и именно в тот момент, когда он достиг, наконец, своей желанной цели.

— Мама! — крикнул гомосексуалист, в кровь сдирая ногти. И полетел вниз с указанной высоты, где внизу, прилетев, еще несколько секунд копошился в луже собственной крови с уходящим сознанием: среди собственных костей, мертвеющего мяса.

Это была первая жертва нового идола, если не брать в расчет солдата-каторжника, погибшего при исполнении служебных обязанностей. И она поэтому получила довольно широкую огласку. Были затем и другие жертвы. Я знаю, что это — мой долг, описать и их, я знаю, что никто, кроме меня, этого не сделает — по неумению или по робости. Я знаю, но я не выполню своего долга, я плевать хотел на свой долг, я не буду их описывать, не стану вязать сеть постылых анекдотов. Мне надоело описывать, надоело вязать сеть постылых анекдотов. Я сам хочу восхождения, я хочу, чтоб где-нибудь был и для меня кровавый опасный идол. Скажите, где есть такой, и ранним туманным утром я начну восхождение, и я достигну, и я скажу, летя вниз: „Нет, все-таки ради этих минут, секунд стоит жить и работать.” И еще я скажу, летя вниз: „Какие все-таки дураки живут в моем родном городе К.” И третье я скажу, летя вниз: „Приехали, слава тебе, Господи!”

В ТУМАНЕ

Я не привык хапать чужое и поэтому честно признаюсь — эту историю мне рассказал к—ский поэт А.П., когда мы с ним, и это было утро, раннее туманное густое утро жаркого июльского дня, опохмелялись пивом на Стрелке, в кустах, близ громадного памятника русского богатыря-красавца, символически изображающего нашу реку Е. Сибирскую, разумеется, могучую... Говенный, между нами говоря, вышел памятник. Да и что, кстати, путного могут создать наши к—ские скульпторы, я их всех знаю, как облупленных, спились с круга, закомплексовались и закомпромиссничились, один там и остался, Санька, который рожи по дереву режет, — так они его за это в Союз художников не берут. Вот какие черти!..

А впрочем, я не точно сказал, что **МЫ С НИМ** опохмелялись, потому что это **ОН СО МНОЙ** опохмелялся, то есть это он опохмелялся, а я просто стоял с ним рядом, лишь слегка пригубив из своей бутылки, и смотрел, как жадно ходит его кадык.

Хотя все эти внешние бытовые детали не имеют равным счетом никакого значения.

Немного об А.П. Он хорошо *начинал*. Он родился и вырос в Сибири на реке Е., а потом поехал в Москву и стал алкоголиком. Он учился в Литературном институте и несколько лет пьянствовал с поэтом Николаем Рубцовым. У него была жена, дочь известнейшего С.Х., ныне редактора одного из наших толстых журналов. Квартиры у него тогда не было, зато остальное все было: чужая дача, любовь... Сейчас он возвратился в К. Ему 41 год, и он допивает остатки своего некогда могучего здоровья. Он нигде не работает и ждет, когда его примут в Союз Писателей. (Я, кстати, тоже жду, когда меня примут в Союз Писателей, но я честно служу в конторе и не побираюсь.) Иногда он пишет, и иногда у него попадают СЛАВНЫЕ (славное словцо, не правда ли?) строчки.

(Славный у меня получился **ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ОЧЕРК**, вместо славного, подернутого сизой туманной дымкой ретрухи-ностальгухи **РАССКАЗЦА**, где — ненавязчиво... „тихо-тихо не шумите"... о спившемся и просравшемся поколении, о **КОРНЯХ**, о могучей сибирской, на берегу которой... и т.д.)

Да и Бог с ним! Если мне суждено исписаться, то вот я на ваших глазах и исписываюсь. Буксует тема, хромает сюжет, потеряна острота,

свьяла свежесть арбузного излома, серебристо-красного, в июльский полдень. Тускл стиль. Стиль — стих. Напал стих на мой стих... Скандалы все кругом, скандалы... Ушел от жены, жена делит имущества... Бог с ними, со всеми! Бог со всем совсем...

— Мы ехали с ним пьяные в такси, — сказал А.П. — Он, этот поросенок, служит корреспондентом радио и телевиденья. Это мы пьяные ехали к покойнику Кольке, который тогда был еще живой. Везли водку, вино, колбасу. У Кольки жили три девки-стюардессы. Поросенок рассказывал анекдот, как Чапаев хотел сесть на рельс. „Подвинься, Петька, я тоже сяду,” — сказал он и вдруг насторожился. „Вруби радио погромче,” — сказал он таксисту. „Ну, так и что Чапаев-то?” — обратился я.

И вдруг стал страшно поражен его видом. Телерадиопоросенок сидел, выпрямившись, острые плечи его торчали острыми углами, спину он, можно сказать, выгнул в противоположную от естественной сторону, свинячьи глазки его мерцали в полутьме холодно и бесстрастно.

„Ты что, чокнулся?” — изумился я.

„Цыц!” — не своим голосом взвизгнул он.

И только тут я сообразил, что он, видите ли, слушает радио. А по радио говорили примерно следующее:

„В преддверии праздника Ленинский комсомол на двух механизированных жатках и тогда парни решили взять этот рубеж что ж задумка как говорится встретила поддержку у старших товарищей всего коллектива молочнотоварной фермы молодцы парни теперь все знают у комсомольцев Больше-Ширинского района слова с делом не расходятся передаем для них песню „Пашем-сеем-усираемся” в исполнении вокально-инструментального ансамбля...”

Корреспондент отер лоб платком и лишь тогда выдохнул:

„Нет, все-таки ради этих минут, секунд стоит жить и работать!”

„Каких-таких минут-секунд?” — не понял я.

„Ради ЭТИХ секунд!” — нажал он, и я вдруг сообразил, в чем дело. Я грязно выругался, и мы принялись браниться. Таксист молчал, не вмешиваясь в нашу перепалку, и мы ехали через реку Е., и была ночь, и наплывал на нас мост через реку Е., наш старый мост, со своими туманными матовыми фонарями и одинокими парочками... „Так Чапай, значит, попросил Петьку подвинуться, когда тот на рельсе сидел. А рельса-то длинная, до Владивостока — ну, дают!” — вдруг расхохотался таксист.

— Так это его заметку передавали! — расхохотался я.

— Догадался, просрамшись! А то чью же еще? Мою, что ли? — буркнул А.П., неприязненно косясь в мою сторону.

— Ты что так на меня смотришь? Я тебе что, должен, что ли, что

ты так на меня смотришь? — вскипел я.

— А ты думал, я тебе за бутылку пива жопу лизать стану? На-
кось! — с ненавистью поставил он передо мной шиш.

— Ладно, А.П.! Не надо! Чего уж там! — примирительно сказал я.

— А хули ты из себя генерала корчишь? — наступал А.П.

— Какого еще такого генерала? — растерялся я.

— Какого? Литературного! Думаешь, если тебя напечатали в „Ок-
тябре”, так это уже все?

— Да почему же, почему я строю-то? — расстроился я.

— А я знаю, почему? — не знал А.П.

— Ну на, выпей мою бутылку, — сказал я.

— Вот-вот! Все подтверждается, — огорчился А.П., но бутылку
все же взял.

И всходило солнце, и это было утро, раннее туманное густое у-
тро, и оно обещало такой день, такой жаркий день, какого еще никог-
да не видел наш город, да и вся Сибирь не видела. Я вдруг сообразил,
что эта фраза (последняя) — суть цитата из моего же рассказа „Настро-
ения”, который я написал в 1964 году и который до сих пор не могу
нигде напечатать. Мне стало смешно.

— Говно ты, все-таки, А.П., — сказал я. — Хули ты залупаешься?
Хули я тебе сделал?

— Да ладно, чего уж там. Не сердись. Извини, — буркнул он. — Да-
вай-ка лучше обнимемся, браток! Помнишь, как мы тогда с тобой в
Москве запили? Рубцов тогда еще шапку у тебя взял, уехал в город
Рубцовск, и там ее пропил на аэродроме.

— А шапка та была не моя, шапка была Лысого... Я тогда, пом-
нишь, к тебе в общежитие пришел за этой шапкой, а ты уже в Соловь-
евке лежишь, под антабусом?

— ...Ага! А Танька, стерва, пустила слух, что я жру в день по ки-
лограмму соленых помидоров, чтоб на меня антабус не действовал,
помнишь?

— Помню...

Мы обнялись. А был, между тем, страшный плотный утренний
речной туман. Из речного тумана вдруг вышел босой человек, по ви-
ду грузин или армянин. Может быть даже и еврей. Босой человек в
фирменных джинсах и цветной майке “Nu pogodi”. Он дико посмотрел
на нас, отшатнулся и вновь исчез в густом речном тумане.

СЛУЧАЙ С КОРОЧЬЕВЫМ

Из-за глубокомысленного отношения к реально существующей действительности, Корочьев впал не то, чтобы в пессимизм, а в какую-то вялую, несимпатичную апатию он впал. Вялую, несимпатичную, малоинтересную для окружающих. Отчасти — сонливую.

„Витамин „С” надо есть. Я съедаю перед дежурством десять его таблеток, этой аскорбиновой кислоты, и у меня голова ясная, и она гудит... Гудит, гудит, гудит... Как колокол... Как Новгородское вече... Как колокол Новгородского вече гудит”, — говорил ему приятель Лев, дипломированный врач, работающий в сумасшедшем доме сторожем. Спился.

Корочьев не ел витамина „С”. Корочьев подошел к окну случайной комнаты, где он проживал, сбжавши определенное количество времени тому назад от своей „супруги”, и он увидел свежавывающий снег.

Снег.

И кроме того — ель плавно махала лапами, и клочья березовых листьев, жухлые, продолжали носиться в воздухе, поминая осень.

Корочьев цитатно прислонился пылающим лбом к холодному стеклу и тут же отпрянул: внизу, под окном этого первого этажа, пугливо мочилась с корточек молодая, судя по беглому очерку одежды и выступающих частей черного на белом тела, женщина, а может быть, даже и девушка, незамужняя женщина.

— Какая гадость, — подумал Корочьев и рассмеялся.

И рассмеялся, и вспомнил, что ему рассказывал один моряк в скором поезде Москва—Мурманск...

...А именно: в скором поезде Москва—Мурманск один моряк рассказал ему, что в ресторане „Москва” города Ленинграда он встретил для своих нужд вполне приличную шлюху, и они пошли за двадцать пять рублей к ней при его выпивке (коньяк, шампанское, шоколад).

В коммунальной той квартирке, где было вполне темно и вполне обычно, они и заночевали, в низенькой угловой комнате со сводчатыми потолками и средней, отнюдь никакой не нищенской там, ОПУСТИВШЕЙСЯ обстановкой. Нет! Вполне средняя была обстановка для нормальной жизни с телевизором. Там имелось даже пианино и к нему вертящаяся черная табуреточка (лакированная), на которой и вертелась профессионалка из „Москвы”, устроив под свою нежную кожу

маленькую мягкую подушечку в хрустящей крахмальной наволочке.

А когда они, наконец, утомились и заснули по случаю позднего времени, как муж и жена — обнявшись, грея друг друга, вдруг раздался звук и послышался шорох и звук ключа раздался в запертой двери, и в низенькой угловой комнате появился человек, грубо включивший яркий свет, отчего сразу же стал этот человек огромным, волосатым и очень страшным.

Вжавшись в подушку, душаясь одеялом, моряк еле-еле пошевелил свою подругу и тихонько сказал ей:

— Там кто-то есть. Это кто?..

Этот же, кто есть, прошествовал четким, чеканным, почти матросским шагом и схватил со стола недопитую коньячную бутылку.

Партнерша зевнула.

— Это мой брат, — сонно сказала она. — Он — бывший матрос. Он психически больной шизофреник. Он всегда приходит, когда со мной кто-то есть. Он не сделает, он не может сделать ничего дурного...

И в самом деле — матрос невидяще глянул на сестру и скрытого под одеялом моряка, выпил из горлышка оставшееся содержимое бутылки, после чего и исчез, не хлопнув дверью...

...Корочев, любопытствуя, вновь потянулся к окну. Оправившаяся девица удалялась вдаль — плыла, плыла, пава, по свежавыпавшему снегу, ступала широкими разлапистыми шагами. На ней была красивая теплая одежда: меховая шапка, дубленое пальто (дубленка), на желтую поверхность которой ссыпались ее черные длинные волосы.

— Ну почему? Почему так? Почему брат был матрос, а любовник — моряк? Что это значит? И почему брат имел ключ от комнаты сестры в этой коммунальной квартире? И неужели сестра не могла отобрать у него ключ, даже если он завладел им самостоятельно? Неужели она не могла вставить новый замок в случае решительного отказа брата вернуть ключ? Что? Почему? В чем тут дело? — мучительно думал Корочев.

Девица сворачивала за угол. О! Последний раз мелькнули ее замшевые сапожки и мохнатая шапка. Что? Почему? Что такое? Где? Кто? Кто она? Зачем делала ЭТО?

— Жить — стоит, жить — очень хорошо, жить — интересно. Кто травится газом, режет вену и прыгает с балкона, тот поступает неправильно... Жить — стоит, жить — очень хорошо, жить — очень интересно, — убеждал себя Корочев.

Вечерело.

СЛАДКАЯ ДУРНОТА НА ФОНЕ АВГУСТОВСКОЙ

АНОМАЛЬНОЙ ЖАРЫ

Плоский лик Серефонова осветился сиянием тихой неземной благодати, и вспомнилось ему все: расщепленное перо с фиолетовыми брызгами, первый кондом, парикмахерская, где бреют усы, торжественный церемониал установки чугунной фигуры Вождя на городской площади — забытое лето забытого года.

„Зачем волноваться, зачем искать выход? Ведь и человеческий организм смертен, однако никому не приходит в голову, что этот процесс когда-нибудь прекратится. Все возрасты хороши: и плоти твердеющей, и уаканья, переходящего в ауканье. И старость, тихая старость, обеспеченная старость — тоже ведь прелестна... Да и смерть достойна! Я не могу, не в состоянии объяснить, но меня всякий поймет, кто шел за гробом: в смерти и Честь есть, и Торжество... Торжество неизвестно чего... Вот так и общество: распадется, умрет, и нет смысла особенно волноваться — останется что-то другое. Нечего волноваться — можно всплакнуть украдкой за гробом дорогого покойника, но ведь плакать — это так, это так сладко!..” — думал он, а Зинаида Вонифатьевна все твердила между тем:

— И я считаю, что все-таки, если уж случилась такая, как у нас в народе говорится, „оказия”, вы бы все-таки, если смогли, посетили бы наш вечер встречи выпускников, я думаю, что глупо придавать значение тому, что случилось на заре, как говорится... Все ведь, как говорится, было-было и быльем поросло. Тем более, что конкретно в ТОТ момент мы были, вы уж извините, но мы были совершенно правы в тот конкретный момент. Ведь не станете же вы утверждать СЕЙЧАС, признайтесь честно, сейчас, с высоты вашего ТЕПЕРЕШНЕГО опыта, что мы были тогда неправы? А?

(Лукаво улыбнулась)

— О чем это вы? — удивился он.

— Как о чем? — рассердилась Зинаида Вонифатьевна. И прикрикнула: — Да не морочьте мне голову! Вы прекрасно понимаете, что речь идет о той справке... характеристике... Вы помните? Я помню. „Груб, неуживчив в коллективе, высокомерен по отношению к товарищам...” Я помню, вы помните. Я знаю, что вы помните, и знаю, что вы ненавидите... ненавидели нас. Вы об этом говорили вашей соученице Онищук,

в 1965 году, во время вашей случайной встречи в Москве на Красной площади... Онищук там гуляла с экскурсией и случайно встретила вас...

Она стояла перед ним, широко и крепко расставив ноги, точно собралась мочиться, не снижаясь на корточки. Как ни странно, за эти двадцать лет она почти не постарела. На фоне августовской аномальной жары она стояла все в том же, таком же платье с высоким воротником и желтоватыми кружевами, постаревшая, блеклая, глупая, такая же, та же...

— Я болен, — сказал он. — Я уже больше полугода на больничном листе, и мне, наверное, придется выйти на пенсию по инвалидности. От работы я уже отстранен, самоустранился... Мне врачи велели больше купаться, больше на солнышке загорать, зелень смотреть. Может, все еще и поправится. Мне нельзя волноваться. Я за этим приехал...

— Конечно, поправится! Зря вы, между нами, столь мрачно смотрите на все эти вещи!.. — с преувеличенной страстностью возразила она. — И вовсе мы не собираемся вас нервировать: вы можете прийти и просто посидеть где-нибудь в уголке. А я шепну ребятам, и им будет очень приятно, что такой известный человек вышел из нашей среды, учился в нашей школе. Ну, ответите на два-три вопроса... Скажете им... что-нибудь интересное. Мне кажется, это скорее развлечет вас, чем обидит. К тому же в сентябре, когда начнется календарный учебный год, станет значительно прохладнее. Вы наденете черный костюм, галстук. Ну, а если вам не хочется надевать костюм, то приходите и так, запросто, в джинсах, свитере, ребятам это даже еще больше понравится. Мы теперь стараемся учитывать их вкусы...

— А ты помнишь, как у нас все с тобой было, сука? — сказал он. — Ты заставила меня лечь на спину и вошла в меня, вошь! Я вошел в тебя. Ты каталась на мне верхом в рай. Мы оба были в раю.

Сказал и тут же почувствовал сладкую дурноту. Те свивы мокрых от пота простыней, нынешняя августовская аномальная жара и нелепый диалог на бесконечной улице при тридцати одном Цельсия... Зачем это все, когда надо в прохладу, к реке Е. и, глядя на увядающую зелень, думать, думать, думать, думать... Еще столькое осталось передумать... Ах, не добиться изящества тебе, бык, коли не было оно тебе изначально имманентно...

Она не вздрогнула. Не покраснела. Не отшатнулась. Не шатнулась. Не пре... не переступила...

— А ты помнишь? — спросила она, и облачко того далекого сладострастия чуть коснулось ее прежних губ.

— Да, — тихо и серьезно сказал он, чуть подумав. — Я не стану лгать... Я — довольно часто... Лучше не было потому что... Нет... Хуже... Воспоминание грело меня и помогало мне в общественно-политической деятельности, когда я стал расти. Фрейдизм, фрейдизм! — Он бо-

лезненно улыбнулся. — Вульгарнейший фрейдизм и, следовательно, ложь. Все навсегда, тотчас, сразу же забыл. Был зол. Из-за характеристики. Ты ревновала, сука, ты мстила мне! Я плевать хотел на вашу характеристику, я ее порвал при поступлении в институт. Я без вашей характеристики поступил. А Ленка Стеблева, кстати, совершенно здесь была не при чем, пусть тебе будет известно, и я никогда с ней не был... О, Господи! — вырвалось у него, — даже прозвище ее сейчас вспомнил, неприличное прозвище... Ленка Стеблева, Ленка Теблева, Ленка... Как не вспомнить, двадцать лет не помнил... помнил, — путался он на фоне августовской аномальной жары.

Она улыбнулась и покачала головой.

— Все такой же. Ученик. Ничуть не изменился, — сказала она.

— У тебя есть муж? — вдруг быстро спросил он.

Но она улыбалась и все качала головой. „БОЖЕ МОЙ, ЧТО СЛУЧИЛОСЬ, ЧТО СЛУЧИЛОСЬ СО МНОЙ. В КОРОЛЕВСКИХ ПОКОЯХ ПОТЕРЯЛ Я ПОКОЙ,” — пел слепой юноша, аккомпанируя себе на баяне, то и дело откидывая резким движением свои волнистые длинные волосы, застилающие его незрячее лицо. Какой-то человек страшно чихнул далеко на улице, за квартал, не ближе, но слышно было отменно, а позавчера по телефону звонил какой-то полоумный старик, и он сказал, что он двенадцать дней лежал в больнице, и за это время его ограбила Корчагина, унесла все вещи, ковер, телевизор. На вопрос, куда он звонит, старик сказал, что днем он уже заходил, но никого не застал дома, а во дворе, на лавочке, ему соседи сказали, что все ушли и будут дома только вечером. Он сказал старику, что старик по-видимому ошибся и звонит по неправильному телефону, а старик сказал, что он не ошибся и звонит по правильному телефону. Он спросил, кого ему надо, и он сказал, что ему надо Маркарьяна. Он сказал, что Маркарьяна здесь нет, и это совсем другой адрес. Он сказал, что как же тогда телефон ему неправильно дали, если это совсем другой адрес? Как, как так может быть? — сказал он и пожаловался, что у него не было ручки, когда он записывал телефон, и он записал его обгорелой спичкой, и он ТАК запомнил. Он сказал, что он запомнил по-видимому неправильно, а след обгорелой спички стирается мгновенно, он это на себе не раз испытал. И он еще раз подчеркнул, что это не та квартира, и нет здесь Маркарьяна, нет и не может быть. Старик долго извинялся и все извинялся, дедушка, что он не туда попал...

„Лукав этот старик, и вряд ли его обокрала Корчагина. Скорей всего взяла то, что ей причитается, да и все. Ну, может, чуть-чуть чуток лишнего прихватила — все ведь в этой жизни бывает, потому что слаб человек.”

Серефонов тяжело вздохнул, ступил длинный шаг, и жесткие потные пальцы его мертво сомкнулись на короткой шее Зинаиды Вонифатьевны. Зинаида Вонифатьевна и не охнула.

ПОКОЙНИК

Протокол одного заседания

СЛУШАЛИ:

Проснулся около шести. Сунул ноги в тапки на войлочной подошве. Бессловесно шурился в темноту. Включил освещение. С неудовольствием обнаружил на чистой крахмальной наволочке гадость. Желтое пятнышко слюнки...

Резкая горячая вода благодрит кожу ночного тела, а из души вымывает остатки мутного вязкого сна. Покойник прилично выбривается швейцарским лезвием, массирует тугие щеки огуречным лосьоном... Чудно посвежевший, упругий, розоватый, он отправится на кухню, чтобы поджарить себе на завтрак быстрый антрекот.

Антрекот выйдет славный — сочный, чуть с кровью, а сон ему снился мерзкий. Будто некий писатель схватил его, как вошь или бабочку, схватил и страшно мучает, разглядывает в микроскоп, требует, чтобы он позировал для омерзительного цветного фото с участием Ольги Александровны, орально-генитальный секс, влага женского оргазма крупно. Покойник умоляет писателя: „Оставьте меня в покое,” говорит, как отвратительны ему бесстыдные задумки и что подло приплетать сюда Ольгу Александровну. Писатель разозлился, откинулся в кресле и брякнул: „Простите, разговаривать больше не могу. Занят. Вас описываю. Потрудитесь удалиться!...”

— Вон! — услышал покойник. — Вон, он, сука, работать не хочет, а деньги хотите получать? — тупо лепетал в форточку скрытый гнилой голос, принадлежавший непременно дворнику. Покойник вышел на улицу.

Дворник действительно скреб весенний тротуар, но в данный момент отдыхал и мочился в дерево. Застегнув штаны, он приветливо поздоровался с покойником и сказал, что к вечеру все больницы будут калекими полные, потому что днем таяло, а с утра прихватило. Покойник, не оспаривая прогноза, лишь настойчиво рекомендовал трудящемуся сыпать как можно больше речного песку и печной золы на лед этот убойный — тротуара, проезжей части дороги. Дворник соглашался с ним.

А в Центральной научно-исследовательской лаборатории горной металлургии уже который месяц бушует гражданская война между

секретарем партбюро Зворыкиным и непосредственным начальником покойника, заведующим секцией материального стимулирования по металлу, содержащемуся в добываемой руде, Шириковым (Юрий Федотович). Уныло-печальна и глубоко язвит душу русского человека картина бедствий гражданской войны: в лаборатории каждую неделю устраиваются партийные и профсоюзные собрания, на бойцов и военачальников пишутся анонимные и авторские письма, заявления. Шириков Юрий Федотович лично сам много раз ездил по следам командировок Зворыкина (Петр Романович) и собрал против партийца значительный компрометирующий материал, где, в частности, фигурировали разбитое стекло ресторана „Усть-Каменогорск” (г. Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской обл.), обезображенные при постыдных обстоятельствах кровать и постель в гостиничном номере гостиницы „Красноярск” (г. Красноярск). В секции Ширикова обнаруживается диверсант Зворыкина — бурят Пирхасов, кандидат технических наук, спешно заувольнялся из секции и пытался прихватить с собой толстую дерматиновую тетрадь, плод его исследований по материальному стимулированию. Тетрадь отбирали, Шириков лично сам велел вязать Пирхасова (Базыр Аполлонович) полотенцами и лично сам это делал, гневно откидывая свободной рукой ниспадающие волосы прически „полубокс”. Бурят кричит и показывает царапину на пальце, утверждая, что сейчас пойдет в экспертизу и „снимет побои”. Горячие сердца! Покойник не участвовал. Он молча сидел за служебным столом и морщился.

А ведь были Юрий Федотович с Петром Романовичем друзья не разлей водой. Вместе выпивали, вместе посещали вечерние занятия университета марксизма-ленинизма, вместе, семьями, ловили раков. Однажды Петр Романович Зворыкин сказал на открытом партийном собрании: „Что-то плоховато у нас, товарищи, со стенной печатью. Стенгазеты выпускаются нерегулярно, не ко всем праздникам, печать — главное оружие партии...” „Нет, — сказал Юрий Федотович Шириков, — печать — важнейшее орудие партии, и я как редактор стенгазеты „За кадры” ответственно заявляю, что со стенной печатью у нас дело обстоит хорошо. Стенгазеты выпускаются регулярно, ко всем праздникам. Но, к сожалению, товарищи, у нас в коллективе есть ряд товарищей, от которых ни за что не добьешься заметок в стенгазету. Хотя, товарищи, они по занимаемому положению, обязаны вести за собой коллектив и первыми показывать образец, быть запевалами...” При этом Юрий Федотович смотрел на Зворыкина, отчего тот сильно покраснел и стал перекидывать с места на место машинописные листы заранее подготовленного проекта решения. Так началась война.

...Однако разговоры в секции велись на сей раз совсем о другом: много толковали о вводе советских войск в Афганистан, оценивая масштабы и перспективы этой братской помощи отсталому мусуль-

манскому народу, гневно осуждали знаменитых экс-фигуристов Белосову и Протопопова, провалившихся под лед и выплывших на Западе в качестве эмигрантов*, клялись, что сосиски до эпохи полиэтилена были гораздо вкуснее, а камбала в середине пятидесятих годов продавалась величиной с таз.

Во время обеденного перерыва покойник, как всегда, занял очередь для себя и для Ольги Александровны. За ними в лаборатории зорко следили, но никак не могли обнаружить в их поведении чего-либо предосудительного. Одинокого холостяка, разведенца без алиментов и Ольгу Александровну, имеющую на руках двух детей подростков и ветренного мужа со слабыми легкими, сотрудники шуточно называли „женихом и невестой”, и они не обижались на скромные шутки товарищей. Долгими зимними рабочими днями, когда на окнах лаборатории намерзает толщиной в палец, а по деревьям воют волки, они шуточно целуются и шуточно строят радужные планы дальнейшей совместной жизни. Ольга Александровна выгонит беспутного гуляку-мужа, от которого в доме один раззор, покойник продвинется по службе и женится, усыновив детей, а Ольга Александровна родит им „братика”. Какой-нибудь зарвавшийся весельчак шуточно намекал, что муж и сам скоро подохнет, но коллеги циника строго останавливали и говорили, что всякая шутка имеет свои границы. Вне работы „жених и невеста” никогда не встречались и никуда вместе не ходили. Прошлым летом во время коллективного прогулочного рейса на теплоходе, он увлек ее в прибрежные кусты и там, с ее согласия, овладел ею. Но об этом никто не знал.

Он стоял на перекрестке проспектов.

Натурищицы скульптора Еремы Ключкова малонадежны в смысле венерических заболеваний. Да и сам Ерема стал последнее время отъявленным радикалом, и покойник справедливо опасался, что рано или поздно это худо кончится.

На улице же имени Ярослава Гашека жила его бывшая жена, которая ушла „из-за любви”. А с новым мужем тоже разошлась, нося очки и старея. Покойник иногда заходил к ней. Бывшие супруги, попив чаю или угостившись вином, ложились вместе, а за стеной ворочалась на постели ее больная мама. Покойник с мамой прекрасно ладил (раньше), а новый, теперь тоже бывший, муж старушку ненавидел, и она его взаимно, отчего собственно и вышел последний развод, не имеющий никакого отношения к нашему протоколу. Покойник сначала опасается спать с бывшей женой, полагая, что — завлекает, вновь ввергнет в страдания, тоску и гнев, но потом успокаивается, заметив, что она совсем не афиширует их встречи, таясь, представьте себе, даже от матери. Сейчас его подозрения возобновляются — слыш-

* Сомнительная часть этой шутки принадлежит моему другу Семену Е.

ком спокойна и равнодушна она, а в спокойствии да равнодушии непременно таятся последующие взрыв, боль и мерзость...

Он подошел к ярко освещенному газетному стенду и вспомнил, как третьего дня пили на кухне чай. В комнате бормотал телевизор. Покойник молчал, со скрипом водя пальцем по пластику кухонного стола. Жена тоже молчала — прихлебывала чай, блестела стеклами очков и, похоже, слегка ухмылялась... Бр-р-р!..

Прочитал в газете, в передовой ее статье следующие строчки:

„Близится окончание учебного года. В последней решающей четверти особенно важно прочно закрепить пройденный материал, поддержать уверенность обучающихся в своих силах, их стремление успешно закончить очередной класс и продолжить образование. Заботиться об этом, неустанно совершенствовать педагогическое мастерство призваны все учителя вечерних школ. Именно от них в конечном итоге зависят авторитет и действенность вечернего образования.”

— Мужик, закурить есть? — услышал он за спиной хриплый юношеский голос.

Два подростка, качаясь, пусто глядели серенькими глазками. В клешневых штанах и нейлоновых куртках. Сальные патлы курчавились. И еще он заметил на кулаке синюю татуировку, выполненную в образе взлетающей ракеты.

— Не курю, — солгал он и огляделся по сторонам. Свет неоновых ламп придавал всей сцене мертвящий могильный оттенок.

— Так на, закури, — сказал подросток и сильно ударил его татуированным кулаком в зубы. Другой шархнул по стеклу газетной витрины и, хохоча, стал показывать товарищу свои окровавленные пальцы.

Прохожие возмущенно кричат. Покойник, харкнув кровью, юркнув за витрину, бешено — прочь от опасного места.

Перекресток проспектов остался далеко позади, миновал Фрунзенское отделение Госбанка, дежурный телеграф, междугородний телефон, магазин „Океан” с ярко освещенной витриной: добродушный пластиковый кит метровых размеров. И глядели вслед встречные, вертя пальцем у виска, а он все бежал и бежал, тяжело дыша и оскальзываясь. Пот щипал глаза. На ходу утирался шершавым рукавом нового финского пальто. Замирая, бьется и стучит сердце под тканью. Пальто, пиджак, рубашка, кожа. Трудно сердцу гнать кровь, работая в напряженных условиях. Кислая слюна засыхает во рту. И какая ночь запутала... давит... Ночь... Лишь высоко над головой таятся среди драных туч холодные чистые звезды!..

„Надо будет по утрам бегом заняться для здоровья, а то вот сов-

сем опустился — одышка, толстеть начинаю...” — подумал он и упал в грязную хрустящую воду.

— Мерзавец дворник, — только и сказал он.

После этого он прожил еще около 35-ти лет и умер в возрасте 68-и лет, случайно отравившись копчеными рыбными палочками.

За это время советские люди съездили на Луну, Марс, Венеру, Сатурн и Плутон, но нигде ничего не обнаружили, кроме пыли, камней и ледяных шапок.

На похоронах народу было не так уж много. Присутствовали два его сына, Андрей, 35-ти лет, капитан эскадренного ракетносца, и Витя, 29-ти лет, студент-заочник Емельяновского университета. Они вели под руки всю в черном скорбную их мать, ранее проживавшую на переименованной улице имени Ярослава Гашека. Бурят Пирхасов был (Базыр Аполлонович), Шитиков Юрий Федорович был, Зворыкин Петр Романович был тоже. Они стали совсем дряхлые, плакали и сморкались в чистые носовые платки, любили покойника, долго служили под его началом. Ольга Александровна умерла тремя годами раньше, муж ее повесился в 1984 году, а дети уехали в Израиль, сначала сын, а потом и дочь. Скульптор Ерема Ключков находится в заключении, скоро выйдет, его реабилитируют.

На поминках народу было значительно меньше, однако там присутствовал ряд новых лиц, опоздавших в крематорий. Модельерша Клава Газуль, вдова известного кинорежиссера Газуля, а ныне невеста Вити, внебрачного сына покойника (не того Вити, который студент-заочник), ее подруга Женя, пьяница Полина и ее муж, Семен Ерофеев.

То есть за печальным этим столом собрались представители нескольких поколений. Шитиков, Зворыкин, Пирхасов, Зеельдович, Лукьянцев, Ким Лещев — одно поколение; Витя, Андрей, снова Витя, Клава, Женя, Полина, Семен Ерофеев — другое поколение. И еще одно поколение — пятнадцатилетний сын Андрея от первой жены. И даже совсем молодая поросль — пятилетний внук Клавы от дочери ее Лены от первого ее, Клавиного, мужа, мерзавца Сашки Ходокова, и второго мужа Лены — Архутова.

ПОСТАНОВИЛИ:

Жизнь отнюдь не прошла. Жизнь не проходит, это мы проходим, жизнь продолжается, упираясь корнями в бесконечность, а следовательно — покойник жив.

РЕПЛИКА С МЕСТА: Эка, открыл! Дурак!

ГОЛОС ПОКОЙНИКА: Оставьте, дьяволы, покойника в покое. Покойник имеет гарантированное право на покой. Не томите душу, пидарасы! Пошли бы все!..

ВЕЧНАЯ ВЕСНА

(к вопросу этико-эстетической оценки спонтанного пердежа
в условиях гетеросексуальной среды обитания)

Бесцельно описывать русско-советскую свадьбу средних слоев нашего населения, имевшую быть место на изломе XX века в кафе „Романтика”, что на площади имени Хо-Ши-Мина, ибо свадьба эта, как две капли воды на третью, похожа на свадьбу, имевшую место быть в ресторане „Парус” на улице Романтиков (прошлый год), на свадьбу в мотеле „Лель”, шоссе Ударников, и наконец на свадьбу в столовой №17 четырнадцатого микрорайона! Бесцельно и непроизводительно, ибо подобные свадьбы похожи одна на другую, как медные деньги, и каждый, кто в подобных свадьбах участвовал, а в них участвовали ВСЕ без исключения граждане, проживающие на территории РСФСР, этот каждый, кто там пил, ел, танцевал, курил и обжимался, знает про эти свадьбы ВСЕ, знает, разумеется, возможно, даже и получше автора. Вот почему — бесцельно, непроизводительно, глупо, наконец, тратить квадратные сантиметры дефицитной писчей бумаги на описания, которые никому, кроме грядущих этнографов не нужны...

Хотя и тут, пожалуй, не обойтись без небольшого ряда слов, необходимой и достаточной справки, донесения историку, будущему человеку, который будет жить и тогда, когда все мы давно померем, а из наших переработанных тел и костей будут расти зеленые побеги...

...Стоимость рядовой русско-советской свадьбы средних слоев нашего населения колеблется, в зависимости от числа приглашенных персон и факторов качества, сортности и обилия кушаний, напитков, от 300 до 500 рублей, иногда дело доходит до 1—2 тыс. руб.

Для целей проведения свадьбы в кафе или столовой, обычно снимается на вечер кафе, столовая или стеклянный кусок ресторана. Приглашаются: оркестр либо два баяниста. Либо и вовсе один баянист, так как один баянист плюс один магнитофон с записями „Битлз”, „Роллинг стоун”, „Ди папл”, „Бич бойз”, „Бонни-М” (плюс записи советских вокально-инструментальных ансамблей и одиноких советских певцов) стоят гораздо дешевле, чем два баяниста. Либо оркестр.

От 10-ти до 50-ти %% состава приглашенных персон занимает старое бодрящееся поколение в черных костюмах (ветераны, старухи в кримпленовых штанах). Молодежь все больше цыкает зубом да

много курит, а к концу вечера вся публика обыкновенно начисто перепивается, но не дерется, вернее — крайне редко дерется. Гораздо чаще ведутся присутствующими душевные разговоры о прошлом, настоящем и будущем нашей страны, поются украинские народные песни (старшее поколение), производится хватание за выдающиеся части тела баб-девушек, а зачастую и замужних женщин (младшее поколение). Иногда и трахают тут же где-нибудь... Весьма часто обвиняют официантов в краже водки, вследствие ее нехватки (вневозрастное поколение).

И я прямо, откровенно говорю — я не ироник там какой, совсем не либерал и отнюдь не с целью осуждения этого, годами сложившегося обряда взялся за свое перо. Мне-то в конце-концов — и Бог с ним, с обрядом! Раньше, читаю, тоже в свадебных обычаях было много жестокого и неприятного: вывешивали на обозрение простыню после первой брачной ночи, крестьян и купцов били батогами. И я не о том, что — мерзко, скучно, глупо. (Мясо-о! Жар-р-р! Кррабов достали? Салат, Салют!.. Хоррошо!.. Ра-ра-разииииинутые... жууууюющие!.. Оружие, от спирта воюющие... воюющие...) Я не о том — всегда было и мерзко, и скучно, и глупо. А я все больше о том, что вот сидят нынче во главе стола посмеивающиеся молодожены. И жених подсмеивается, и невеста подсмеивается, и все за столом, за нашим общим, как говорится, столом подсмеиваются да подмаргивают друг дружке, кто еще, как говорится, с ума еще не спятил и не упился еще. Чушь все это? Чушь, чушь... Чушь.

А раз чушь, то, стало быть, поехали дальше с Божьей помощью.

Стояла тихая майская послесвадебная ночь, когда не падет веточка, не шелохнется мелкий листочек, лишь упорная луна, что может, то и освещает в описываемом пространстве. И дивно на душе, и радостно, и грустно, и тревожно!..

А жениха с невестой даже самый свинский язык не посмел бы назвать алкоголиками, потому что они даже и пьяницами не были, в отличие от тех пьяниц и алкоголиков, которые пусть и в небольшом количестве, но все же присутствовали на их свадьбе. Жених с невестой прилично и в меру выпили на своей свадьбе, после чего и любилась на законных основаниях в широкой постели. Сладко дыша друг на друга перегорающей водочкой и тихо хихикая при воспоминании об отдельных нюансах отгоревшего праздника.

После чего мирно заснули. А как проснулся наш законный муж, то он немедленно весь оказался в поту страха и стыда, и он немедленно, тут же задрожал от страха и стыда, ибо проснулся он от громкого звука, который спонтанно испустил его организм, до отказа наполненный вином, пряными приправами, мясом и жиром.

И — чу! Чуть колебалась темная плотная штора, застилающая звездное окно, а наш мужчина и пошевелиться боялся от стыда —

лежал, не колеблясь, крытый красной краской стыда, и мысленно молился, мысленно прощался неизвестно с чем.

Внезапно он услышал сдавленный смех. Лукавый глаз любимой лежал с ним на подушке рядом. Он отшатнулся, желая раствориться в стене, но тут же облегченно, хоть и с некоторым еще стыдом, засмеялся и потянулся, целуясь, и они свились в один клубок, в единый организм, эти две составляющие части его и два источника. И какая-то пропасть сомкнулась над ними, да — сомкнулась, и они упали, и она сомкнулась над ними... Или — нет! НЕТ! Пропать сомкнулась, но они взялись за руки, перепрыгнули и убежали. Они бежали...

Они бежали, дядя с девочкой, по зеленой отлогой плоскости, где буренушка пасется с полным выменем и во дворе хижины лесоруба мальчик играет, лукавый крошка с огромными синими глазами и отстегнутой джинсовой лямкой. Таких мальчиков, кстати, повелись нынче рисовать на модных холщевых сумках комически мочащимися или весело сидящими на горшке... Очень красиво!.. Это очень красиво, и я говорю вам искренне, что это очень красиво, потому что это — жизнь, а все, что жизнь — это очень красиво. Это вы и сами лучше меня знаете, потому что лучше и не живи,... твою мать!..

Да!.. И вольно́ было мне изобразить, к примеру, что друг мой через несколько лет после описанного инцидента превратился в скотину с налитым пузом и сальной головой. И что жена его превратилась в такую же скотину... Вольно́, ибо во время моего последнего визита к другу, который жил в тот период на пятом этаже девятиэтажного дома в полуторакомнатной квартире, в городе К., на берегу сибирской реки Е., с видом на эту реку, во время этого визита я обнаружил моего друга в жаркой той квартире, тогда как мороз рыщет за окном и ледяной ветер свищет. Друг радостно встретил меня. Мы обнялись. Поужинали. Мне постелили в 0,5 комнаты — там, где балкон и вид на реку Е. (там немного дуло от балкона, если по совести сказать). А перед сном мы долго сидели на кухне. Пили чай. Рассказывали друг другу, кто что видел за истекшее расставание на территории РСФСР и к какому выводу пришел.

Жена моего друга читала на ночь в постели (под торшером) роман какого-то знаменитого советского писателя, напечатанный в журнале „Дружба народов”, а друг мой ходил по жаркой кухне в одних трусах. Ходил, развивая планы дальнейшей жизни и явственно попукивая.

То есть, это даже и не то слово, а вернее — оба НЕ ТЕ СЛОВА!

Явно, а не явственно, и отнюдь не скрываясь, *пердел*, а отнюдь не попукивал мой друг: то нежно, с достойным переливом, как флейта, переходящая в валторну, а то вдруг — резко, отрывисто, будто возопил кто, зарезанный ножом разбойника на той узкой снежной тропиночке, которая по диагонали пересекает морозную Русь (РСФСР).

— Да перестань, имей в конце-концов совесть!.. — рассердилась Жена и обратилась ко мне: — Нет, ты посмотри — все-таки какая он стал скотина!..

— О чем ты? — изумился я.

— Как о чем?.. Ты что, тоже дурака валяешь?.. — она с сомнением посмотрела на меня, чуть-чуть покраснела и насупилась.

— Это вы о чем? — отвлекся мой друг и вопросительно, с неясным подозрением вдруг глянул на нас, будто бы застигнув меня и ее за чем-нибудь нехорошим.

— Это мы о том, что ты пердишь, — холодно сказал я. — О том, что ты пердишь, не стесняясь чужого присутствия.

— Чужого?! — злился или кривлялся мой друг. — А как ты сам, а? — показал он на меня пальцем. — А как ты сама, а? — показал он на жену. — Сказать, а? Сказать, а? Сказать, а? — наступал он на нее и на меня.

— Да поди ж ты... — услышали мы в ответ сердитый и все же (клянусь!!!) улыбающийся женский голос. Она вскоре и лицом улыбнулась, после чего зачем-то нарочито зевнула, отложила журнал, погасила лампу и закрыла глаза, явно показывая, что давно уже собралась спать. Мы на цыпочках удалились на кухню. Мой друг пукнул и сказал:

— Ничего у меня женка, ничего... А малого мы на неделю к старикам отвезли — у меня работы много, а она не успевает его утром в садик отвести, просыпает, сука!..

Да... Так что, как ни вольно́ было бы мне написать, что друг мой по протяжении лет совсем превратился в скотину с налитым пузом и сальной головой, но писать так я совсем не имею права. Ибо отнюдь голова его не была сальной, и сам он был скорее худощав, чем толст, хотя и расплылись от ГОДОВ, отвисли его бока!.. Он заботился о ребенке, дома у него был полный порядок, он говорил мне, что весь сейчас полон творческих планов и переживает необыкновенный творческий подъем.

Так что — не могу я так писать. Это будет — неправда. Это будет — ложь, нечестно, нехорошо и неточно.

Вот почему я предлагаю (причем уже не в первый раз!) присовокупить к вопросу этико-эстетической оценки (не хочу лишний раз переписывать подзаголовок, ибо там стоит не совсем приличное слово, а я тщательно сторонюсь эпатажа), предалагаю присовокупить к этому вопросу ряд других насущных вопросов, как то: 1) Были ли мои друзья скотами? 2) Стали ли они скотами? 3) Являются ли они скотами? 4) Будут ли они скотами? 5) Скотство ли это, и что такое означает „скот“, каково точное значение этого слова в русско-советском языке?

Я настаиваю! Я вот уже в который прошу, непременно ТРЕБУЮ

поставить эти вопросы на повестку эпохи! Я считаю, что это необходимо сделать хотя бы потому, что без решения этих, как говорят обыватели, „мелких” вопросов, мы вряд ли сможем перейти к решению вопроса кардинального, вопроса, в котором утонули лучшие умы столетий и эпох — как ВСЕ ЭТО увязать с картиной Боттичелли „Вечная весна”?

Помните эту картину? Если не помните, то обязательно посмотрите, купите книгу, репродукцию. Там слегка желтоватая женщина „Вечная весна”, дама с бессмысленно-мудрым лицом кротко устремилась вперед, закрыв очаровательными пальчиками многое. И маленькие ангелы, похожие на больших жуков, и какая-то латинская надпись — все есть на этой картине. Прекрасная картина! Прекрасная „Вечная весна”! Прекрасная женщина! И давайте же как-то попытаемся ВСЕ ЭТО вместе увязать. Я не хочу городить, что если мы все это вместе увяжем, то что-то в мире изменится или кому-то где-то станет хорошо. Нет! Ничего никогда в мире не было хорошего, а если кому-то когда-то где-то вдруг делалось хорошо, то вскорости ему от этого же самого „хорошо” становилось чрезвычайно плохо, хотя потом иногда становилось и опять хорошо... Я ни в чем не уверен, я ни за что не ручаюсь, но я все-таки думаю, что глупо было бы упустить последнюю попытку... Свяжем несвязываемое, увяжем неувязываемое, учтем неучитываемое!.. Авось и блеснет тогда луч счастья, авось и отымет тогда робкая баба красивые руки от желтых грудей. Блеснет желтый луч счастья, „Вечная весна” отымет красивые руки, глубоко вздохнет и никого не осудит.

СИРЬЯ, БОРИС, ЛАВИНИЯ

Город расположен в ста двадцати километрах от Таллина и в семидесяти восьми морских милях от Хельсинки, на берегу Финского залива. Город чужой — Эстония потому что. Эстония — чужая, нерусская страна. Улицы шероховаты, уступами, к морю. Дымит завод строительных материалов, средний уровень образования работников — 4,5 класса.

Всякое сердце любого русского человека, каковым являлся Борис, тревожно защемило бы, если в окне автобуса показались (что и случилось) куски плоской чужой пахоты, останцы некогда могучих дубовых рощ — сквозь восковку, тумана ли, измороси, морозящей сочащейся влаги: осень на дворе, и тоскливо на сердце в пасмурный день, когда клеклые листья липнут к подошвам, горизонт белес и хочется повеситься в лесу совершенно и навсегда, дабы не участвовать во всей этой ландшафтно-метеорологической пакости.

Сирью Сийг глупые дети звали в школе „эСэС” — она закончила четыре класса и в пятый идти отказалась: семилетка была только в городке, и ей страшно было жить в интернате среди чужих детей. Отец и мать колотили ее, но она забивалась в угол и подолгу стояла там, всхлипывая и посасывая указательный палец. Родители оставили ее в покое. Она пасла телят и пекла хлеб. А что она еще делала, что ела, пила, о чем думала — Борис не мог догадаться: он плохо знал быт послевоенной эстонской деревни. Сирье было тридцать два года, пятнадцать из них она посвятила процессу сушки кирпича в сушильном цехе завода строительных материалов. Работала она хорошо, и ее кандидатура была признана достойной заводской Доски Почета. Фото Сирьи уже который год висело на заводской Доске Почета. У нее было милое, чуть-чуть поросячье лицо, и на фотографии она вышла очень веселая. Двенадцать лет назад Сирья была невестой. Муж ее, Сулев, моторист рыболовецкой артели, тоже очень хотел жениться на ней. В субботу он не утерпел. Все кончилось слишком быстро, чтобы Сирья могла что-либо понять или по крайней мере испугаться. В воскресенье на него наехала автомашина, за рулем которой сидел пьяный. Сулев умер, не придя в сознание, и свадьба не состоялась. Родственники Сулева не признали Сирью своей, и она не смела появляться у них на хуторе, среди заболоченных низин и мокрого леса. Она не забеременела. У нее никогда не было детей.

Лавиния Левенбук не была еврейкой и она не была немкой. Она была эстонкой. Отец Лавинии, Иван Левенбук, не был евреем, немцем или эстонцем, потому что он был русский, но он исчез еще до рождения Лавинии, дочери подавальщицы из военной столовой. Ребенок рос рослым и смышленным, но в возрасте двенадцати лет с Лавинией случилось нечто вроде слабоумия: она перестала говорить и лишь хихикала в ответ на участливые расспросы матери и врачей. Девочка раздевалась догола и, пользуясь отсутствием вечно занятой матери, подолгу смотрела на себя в зеркало, бесстрастно и строго, не испытывая при этом никаких чувственных ощущений. Она полностью выключилась из жизни. Она закончила пять классов. Ей было шестнадцать лет, когда мать ее, пятидесятидвухлетняя Стелла, умерла от аневризма аорты. Стелла тогда работала в ресторане „Якорь”. Поднос выпал из ее рук, дорогие кушанья разбились и погибли. Люди жалели ее — она была неплохая женщина, хороший товарищ... Лавиния поступила на завод строительных материалов и снова стала разговаривать. Иногда она плакала, вспоминая доброту покойной матушки. Она вышла замуж за экспедитора завода, пожилого рыжего мужика, и постоянно ему изменяла. Ей казалось, что в этом нет ничего особенного, временами она сладко задумывалась о том, что это нужно, полезно и очень хорошо. Хорошо всем. Все рады, что Лавиния изменяет мужу. Муж никогда об этом не узнает, и это тоже очень хорошо. Давайте считать, что двадцатилетняя Лавиния была счастлива.

В прошлом году ЦК компартии республики принял соответствующее постановление⁺, и в город прибыла небольшая геологическая экспедиция, которой вменялось в обязанность провести весь комплекс изысканий под строительство нового гигантского завода строительных материалов или, если выражаться еще точнее, для целей реконструкции бурились эти скважины и брались на анализ пробы грунта из шурфов, потому что преобразовано должно было быть старое обветшавшее производство, пережившее буржуазно-демократическую республику, фашистскую диктатуру, оккупацию страны немецко-фашистскими захватчиками и счастливое послевоенное развитие в семье других братских народов, проживающих на территории СССР. С экспедицией в город приехал Борис. Борис был начальником экспедиции. Борису было тридцать шесть лет, и он родился в городе Ереване, но считался чистокровным русским, хотя и имел небольшую примесь еврейской крови.

Бурную молодость свою он провел в Московском геологоразведочном институте, работал в Средней Азии (Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Казахстан), на Севере (Норильск, Воркута, Мур-

⁺ „О реконструкции и расширении строительства предприятий строительной промышленности” — так, по-моему (прим. автора).

манск), на Дальнем Востоке (Чукотка, Улан-Удэ, трасса БАМа), на Юге (г. Махарадзе, Грузия; г. Дашкесан, Армения). Под Свердловском он случайно видел пленного американского шпиона, летчика Пауэрса, в Новочеркасске оказался свидетелем трагических событий, в Минусинске у него жила жена, с которой он развелся, в Сочи его застала холера, и он полтора месяца провел в карантине с известным поэтом В.Е., порядочно ему надоев; в Хорезме его ударили ножом за то, что он в пьяном виде сделал пальцем знак ☺⁺; в Красноярске он встретил татарку, которая, когда дело дошло до „отношений“, оказалась без трусов, на Урале он хотел вступить в партию, но его не приняли, не было кворума, в городе Алдане он получил почетную грамоту и ценный подарок. Он устал от державы, но не хотел ее покидать, смутно томясь предчувствием еще более удивительных приключений, встреч, которые могли бы всерьез озадачить его. Он не хотел умирать.

Сирья немного рассказала ему о себе. Она думала, что он проводит ее, ей было страшно на темных улицах маленького городка, но она крепилась. Она сказала, что у нее все было надорвано двенадцать лет назад, и ей, должно быть, будет очень больно. Увлеченный, присматривающийся к себе, он не слушал ее. Она застонала, но не вскрикнула.

Лавинию привел к нему на Пасху разведенный рогоносец Юрочка. По телевизору играл ансамбль. Было очень весело. На столе стояло много бутылок вина, жареное мясо жирноватое, сыр „Российский“ и колбаса. Водку запивали водопроводной водой.

Лавиния не произвела на него особого впечатления. Он не поручился бы даже и за то, что она ему нравится. Лавиния носила красный брючный костюм и выглядела старше своих лет. Юрочка плакал. Остались одни, и Борис с остережением набросился на Лавинию. Девушка хихикала и торопливо помогала ему. Вскоре рассвело, и она отправилась домой.

Станным было поведение Сирьи, могущественным ее влияние на Бориса. Он совершенно прекратил встречи с Лавинией, встречаясь с ней всего лишь раз или два в месяц, а то и реже. Тем временем наступила зима. Румяные эстонские школьники хором кричали „Хеад уут аастан!“⁺⁺. Прохожие ласково глядели на них. В каменном низеньком магазине „Мордобойка“ пьяная рожа в белом халате продавала вишневым ликер. По улице шел геодезист Федька с кирзовой полевой сумкой на боку и в кирзовых же сапогах. Мороз крепчал. Борис поманил Федьку.

⁺ „Усы“, местные жители очень не любят этот знак. Он напоминает им о прошлом. Мне рассказывали (прим. автора).

⁺⁺ С новым годом! (эст.)

— Ты почему третий день дома не появляешься? — спросил он.
— Пошла бы она, пошла бы она, пошла бы... — сплюнул геодезист.
— Твоя баба просила выдать ей твою зарплату. Я ей не дал твою зарплату, — сказал Борис.

Лавиния с мужем, нарядные и взволнованные, шли по серой улице в гости, а вечером того же дня Борис разговаривал с Сирьей. Он рассказал ей о том, что посетил несколько разговорных уроков в эстонской школе: райком рекомендовал делать это всем русским и всем другим национальностям, не говорящим по-эстонски. Но сейчас, пояснял Борис, сейчас я очень загружен работой и я не смогу посещать эти уроки, хотя мне очень хотелось бы, потому что я уже выучил много эстонских слов... Сирья молчала.

— РАКомендую, — острил Борис.

Сирья молчала, а потом стала одеваться, так как через час началась ее рабочая смена. Если Сирья работала в ночную смену, то она приходила к Борису вечером, если утром работала — приходила ночью, если вечером — приходила в обед. Начинала одеваться всегда за час до рабочей смены. Жуткая или смешная наша жизнь? Кто ответит?

— Ты не выйдешь на улицу? — спросила она.

— Ты не будешь на меня сердиться, если я не смогу этого сделать? — спросил Борис.

— Нет, нет, — сказала она и ушла.

Борис не знал, как называется цех, в котором она работает. По его представлениям этот цех должен был называться сушильным. Сирья надела отвратительную брезентовую робу и сразу же стала отвратительной, бесформенной и бесполой. Она спросила подругу:

— Скажи, если мужчина не использует презерватив, от этого всегда бывают дети?

— Нет, не всегда, — подумав, ответила подруга. — Но лучше все же что-то использовать. Можно использовать, это называется „колпачок“, можно использовать спираль, это называется „спираль“...

— Спираль? — спросила Сирья.

— Спираль, — повторила подруга.

— Спираль? — переспросила Сирья.

— А может, ты хочешь ребенка? — заглянула ей в глаза подруга.

Сирья зарделась. Лавиния работала в том же цехе, но их смены никогда не совпадали. Лавинии казалось, что она забеременела. Забеременела от мужа. Лавиния с наслаждением думала о том, что у нее будет ребенок. „Он станет рыбаком“, — думала Лавиния. Лавиния ошибалась.

Так прошла зима. Однажды Сирья сказала Борису, что она в него сильно влюблена. Борис не понимал, что именно она имеет в виду, и Сирья долго поясняла свои слова. Она говорила о том, что поток любви захватил ее, и ее медленно разворачивает, чтобы нести по тече-

нию. Но она еще в силах выплыть, в силах бороться с течением, она пока еще может одолеть течение и выбрать себе безопасное место для плавания. „Я для вас игрушка, Борис! Вы играете мной, я боюсь в вас влюбиться совсем. Совсем, совсем, совсем...” — печально говорила она, целуя Бориса и глядя его мужественное лицо, обезображенное красивым шрамом. Малообразная речь ее закончилась сообщением о том, что она увольняется с завода строительных материалов и уезжает в город Пылтсаама, тридцать два километра от железнодорожной станции Йыгева, где будет жить у родных на хуторе, а работать поступит на знаменитую фабрику пылтсаамской горчицы, и что она уже две как недели подала законным порядком заявление об увольнении, отработала положенные, согласно КЗОТу, двенадцать дней, и завтра, а вернее даже сегодня, рано утром, она возьмет свой тяжелый чемодан и сядет на рассвете в междугородний автобус, который своими желтыми фарами прорежет туман. Чемодан уже собран. Она прощается.

Борис расстрогался и сначала хотел проводить ее по темным улицам маленького городка, но потом решил не ломать традицию и заснул, предварительно договорившись с Сирьей, что он подойдет к автобусу и поцелует ее на прощанье.

Он проснулся пятью минутами позже того времени, когда еще можно было успеть выполнить обещанное. За окнами совсем рассвело, но плотный белесый туман скрывал все видимые предметы на расстоянии десяти-двадцати метров. Запрокинув голову, Борис напился теплой воды из носика эмалированного чайника. Он вышел на улицу, направляясь к морю.

В городке было совсем тихо. Он шел мимо почты, видел выставленный в окне громадный рекламный конверт с портретом какого-то сердитого человека и надписью, поясняющей, что этот человек „эстонский революционер и музыкант Эдуард Сырмус, 1878—1940. Eesti revolutsionäär ja muusik Eduard Sõrmus, 1878—1940.

Каменные низенькие дома. Кирха. В тумане. Тени дымящихся труб завода строительных материалов. Сырмус.

Дорога вела к морю. Он миновал кладбище. Лес. Обрыв. Мостик. „Глинт, это называется глинт,” — вспомнил он свою специальность. — „Глинт — это крутой уступ древнего силурийского плато, простирающийся к Югу от Финского залива, реки Невы и Ладожского озера.” Вдали белел маяк.

На берегу появилась Лавиния. Она молча смотрела на Бориса, но он, отрицательно покачав головой, вошел в воды мелкого залива и зашагал по направлению к Финляндии. Вскоре его остановил эстонский пограничный катер. Врачи сочли, что случившееся являлось суицидальной попыткой и, продержав больного определенное время на больничной койке, с миром отпустили его.

Юрочка повесился. Муж избил Лавинию. Лавиния развелась с

мужем и эмигрировала в Швецию, где у нее обнаружили родственники по отцовской линии. Сирья написала Борису письмо. Борис уехал в Москву и там женился на женщине с ребенком. Следующей весной она умерла от родов. Борис воспитывает сына и приемную дочь.

Ибо жизнь не кончается. Все — бессмертны. Никто никогда никуда не возвратится.

КТО-ТО БЫЛ, ПРИХОДИЛ И УШЕЛ

Ирина Аркадьевна Снегина, сорока двух лет, частенько возвращалась в свою квартиру глубочайшей ночью, что было связано с ее профессией, заключающейся в игре на домре-прима 2 в профессиональном оркестре народных инструментов. Отнюдь не собираюсь представлять ее как вымороченную опустошенную фригидную персону — одинокую, с прошлой любовью, за эдакую *гуманистическую* особу отнюдь я не собираюсь выдавать Ирину Аркадьевну. Кому хочется видеть таких баб, тот пускай езжает в Ленинград, там таких честных полные коммуналки, а кому хочется про такую Женщину прочитать художественное произведение, тот пускай мои литературные листы тут же откладывает в сторону, ибо ничего подобного он здесь не найдет.

У Ирины Аркадьевны были: дочь, сын и даже, кажется, внуки — я точно не знаю, она обманула меня, и я был на нее сердит, отчего и пишу этот рассказ. Я наивно полагаю, что если я напишу (допишу) этот рассказ, то психофизиологическое состояние мое совершенно изменится, и Ирина Аркадьевна станет мне не то, чтобы мила и приятна, но по крайней мере я смирюсь с ней, как с родственной персонею, с РОДСТВЕННИЦЕЙ. Знаете, в семье всегда есть уроды, и все их очень любят, хотя и морщатся, хватаются за голову при очередном упоминании об их штуках... Меня предупреждали, что Ирина Аркадьевна уже не одного меня такого голубчика надула, но я отмахивался, мне было все равно. Я люблю все формы жизнедеятельности, и когда образованная и прогрессивно настроенная Ирина Аркадьевна предложила мне сделать русское либретто для камерной рок-оперы „Поцелуй на морозе” (с ее музыкой, удивительно сочетающей древнерусский ладовый распев со стилем „диско”), я тут же согласился, ибо Ирина Аркадьевна, с младых ногтей циркулирующая в СФЕРАХ, обещала поддержку и Ивана Митрофановича, и Митрофана Тихоновича, все заслуженных да народных, хороших русских людей. И говорила, что немедленно по исполнении заказа будет заключен договор, и я получу тысячу пятьсот рублей денег.

Я, уже не раз горевший на подобных предприятиях, тут же конечно же с радостью согласился, проделав значительную работу. Я вывел сюжет — действие происходит на строительстве Красноярской ГЭС — смонтировал стихи Хлебникова, Гумилева, Есенина, Николая Рубцо-

ва и Мандельштама (для равновесия и потому, что я его очень люблю). Трудился я около месяца, а по истечение этого срока все дело лопнуло, потому что, как говорила Ирина Аркадьевна, замысел кому-то там показался слишком дерзким в свете напряженной идеологической обстановки весны 1979 года, да к тому же режиссер не имел столичной прописки или тарификации — не помню, чушь, в общем, суть которой меня совершенно не интересовала и не интересует. С Ириной Аркадьевной мы расстались друзьями. Она обещала мне КОМПЕНСИРОВАТЬ мои старания другой интересной работой, я ей не верю, но как только от нее поступит какое-либо предложение, тут же в очередной халтурной затее участие приму обязательно — авось да и клюнет, ведь я за последнее время привык себя считать профессионалом! Авось да и клюнет! У меня будут деньги, я не буду никого бояться и куплю себе теплую шубу. Я не в претензии. Роза есть роза, бизнес есть бизнес, звенок есть звенок.

Я не в претензии и я не о том. Я хочу рассказать вам, как Ирина Аркадьевна возвращалась однажды глубочайшей ночью домой и что с ней потом случилось.

Немного о квартире Ирины Аркадьевны. Квартира эта однокомнатная и она расположена на пятом этаже пятиэтажного „хрущевского” дома без лифта. Живет кругом большей частью рабочий класс, и засыпают очень рано. Летом на улице цветет акация, шелкают семечки, ходят в домашних тапках на толстой войлочной подошве, играют в домино.

Но район этот — не новостройка, отнесенная далеко за пределы города, туда, где чувствуется сырость развороченной целинной земли, и рядом лес и какие-то деревни с названиями „Горшково”, „Убе-ево”, „Порточки”, откуда утром бабы везут цветы и редиску на Центральный рынок. Этот район возник на месте разрушенного старого района, состоявшего из бараков, и расположен на месте древнего культурного слоя, отчего и тополя, и сирень, и акация, оттого и домино, и традиция шаштанья между домами в домашнем халате, как в коммунальной кухне — все от того.

Ирину Аркадьевну здесь никто не знал. Это она так думала, потому что никогда не работала „в заводе” и не была знакома ни с кем из окружающих, населяющих эту улицу или вернее этот квартал — дома были разбросаны в беспорядке, понятное дело — „хрущобы”...

Отступление. Стоп! Рассказ этот совершенно катится и рассыпается. Это никого кроме меня не интересует, но я, балансируя и срываясь, делаю вот это — жалкую импотентскую гримасу. Дескать, ничего, ничего — скоро все получится, сейчас, секундочку, вот-вот, сейчас, закройте глаза и не смотрите на меня.

Минутная истерика. Горько жалуюсь, постыдно слезы лью — вот я и исписался, дописался до какого-то грязного дуро-фрейдистского бреда. Говорилось ведь не раз старшими товарищами — не выебывайся, Женя, пиши, как умеешь, не становись на цыпочки, не тяни шею, ведь оторвется слабая голова. Ан ему все мало! „Дуро-Фрейдистский” (!) Да ведь о Фрейде-то ни малейшего понятия!.. Так, слышал что-то да что-то там читал, что давно уже забыл. „Фрейд, Фрейд, Фрейд”, „тотем и табу”, „венский шарлатан”... Верхушки!.. А все потому, что, сволочи, не приняли в Литинститут, а уж так хотел в Литинститут, так старался, послал на конкурс „народные” рассказы, письмо написал, что дескать из Сибири... Хрен там!.. Раскусили и не пустили... И правильно сделали. Молодцы!.. Я говорю вполне искренне...

...хрущевские дома. О, зодческое искусство того десятилетия, когда в ООН башмаком по микрофону стучали и театр „Современник” вдохновенно репетировал пьесу вермонтского затворника! О, молодость моя, о, поллюционная чистота, о, молодость Ирины Аркадьевны: шумные споры, СПОРЫ⁺, когда первый муж Ирины Аркадьевны, известный зачинатель и телережиссер, ныне покойный, и любовник Ирины Аркадьевны, известный писатель, ныне проживающий в г. Париже, ночами, бывало, не Ирину Аркадьевну на пару трахали, а жужжали на кухне — все жу-жу-жу да жу-жу-жу. Дескать, согласен ли с таким названием „оттепель” или не согласен? Сумеет ли МЫ, НАШИ, СТЕНКА, утвердиться, СКАЗАТЬ СВОЕ СЛОВО или не сумеет?

Сумели, сказали, снимаем шляпу... Сняли шляпу, долго стоим на морозном ветру. Голова стынет, может быть менингит, загнешься, по районным поликлиникам гуляючи... Шляпу надеваем обратно...

Итак, немного о квартире Ирины Аркадьевны. Квартира эта однокомнатная, но квартира у нее славная: теплая, солнечная, сухая. Интерьер? Интерьер интеллигентного сов. (современного) человека конца семидесятых XX. Кое-что даже и зарубежное — календарь цветной, французские рушнички, сумки полиэтиленовые — „Абба”, „Бони-эм” да „Монтана”, ну, ковер, конечно же, весь пол затянут серым паласом. Кресло никелированное, как у врача. ТВ (цветн.), письменный стол, концертная домра, много кофе. „Будете пить кофе? Сейчас

⁺ СПОРЫ, одноклеточные, реже многоклеточные образования, возникающие бесполом или половым путем и служащие для размножения многих растительных и нек-рых животных организмов — водорослей, грибов, лишайников, мхов, папортников, хвощей, а также споровиков; у бактерий С. служат лишь для переживания неблагоприятных условий. *Энциклопедический словарь.* Москва. 1955.

сварим кофе. Я не начинаю свой день без чашечки кофе. Знаете, они могли сделать все, что угодно, но поднимать цены на кофе — это, знаете ли...”

Зачем Ирина Аркадьевна играла на домре-прима 2, это понятно и дураку: она думала, что ОНИ ее будут пускать за границу в составе профессионального оркестра народных инструментов. Но покойник-муж, чей скорбный фотопортрет с бородавкой на носу украшал пустую белую стену, что-то там такое наподписывал в защиту там кого-то или против танков, да вдобавок еще и писатель из Парижа позванивал, так что Ирину Аркадьевну только в Монголию и пустили один раз, сыграть для размещанных там советских частей вальс из оперы „Иван Сусанин”.

Совершенно не хочу злобствовать, потому что я очень добрый человек, и поверьте, что я не глумлюсь над „шестидесятниками”, я искренне уважаю их, хоть и имею на их счет свои представления. Я не хочу злобствовать, и я не стану говорить о дальнейшей жизни Ирины Аркадьевны после внезапной смерти знаменитого мужа, который вздумал доказать приятелю, что он, пятидесятилетний человек, свободно может плавать в ледяной волжской воде (г. Тутаев, весна 1969-го), не стану описывать ее увлечения, ее взаимоотношения с „творческой молодежью” (это вы и на моем примере видите!), не упомяну даже о ее „салоне”, где считали, что Галич конечно же выше Высоцкого, а вот Аверинцев — это настолько уникальное явление, что он годится для любой системы и в этом смысле является непременно эталоном, хотя естественно, по степени таланта он „тянет на гения”, это не всякому дано, а эталон — лишь потому, что хватит в самом деле кулаками махать, устали кулаки, ОНИ УСТАЛИ⁺, хватит — бетонную стену кулаками не прошибешь, нужно это шестиплоскостное пространство облагородить — сыграть Мольера на старофранцузском языке, Генделем в стену хуйнуть, авось и рассыплется стена от Генделя, от Мольера да от Ирины Аркадьевны, хватит махать кулаками...

Конец истерики. И мне хватит махать языком, раз уж взялся я описывать, как Ирина Аркадьевна возвращалась глубочайшей ночью одна домой и что с ней потом случилось, это в конце концов делает меня просто смешным, истерики на бумаге разводить, это непрофессионально даже в конце-то концов. „В России все занимаются не своим делом,” — сказал мне один француз. Цитата, наверное... У меня нет систематического гуманитарного образования. Меня не приняли в МГУ, Литинститут и ВГИК. И правильно сделали — будь у меня систематическое гуманитарное образование, я б вам такого понаписал!..

⁺ Текст распространенной татуировки.

В МГУ — рабочего стажа не было, требовалось два года рабочего стажа, в Литинституте — не прошел творческий конкурс, несмотря на русскую народность, во ВГИКе сочинил этюд про распивание самогонки председателем колхоза вкупе с бухгалтером, тишайшим Коленькой... Приняли, было, в Союз писателей, да и оттуда недавно выперли. Неправильно все это... Я бы мог послужить Отчизне, да мне не дают... И хватит, хватит!..

Повторяю вам торжественно, тихо, мерно и скромно, что —

...Ирина Аркадьевна, сорока двух лет, со следами бывлой красоты на моложавом лице, частенько возвращалась в свою квартиру глубочайшей ночью, ибо это было связано с ее профессией, заключавшейся в игре на домре-прима 2 в профессиональном оркестре народных инструментов. Хотя уродом ее никак нельзя было назвать, но была Ирина Аркадьевна собой нехороша — какая-то торговая была ее красота, и голова у нее была совершенно песья. Болезни сорокадвухлетнего возраста не коснулись Ирины Аркадьевны, она, выйдя из такси, ступала легко и свободно, а дому свою, кормилицу, домру-прима 2, народный русский инструмент в кожаном футляре, ласково прижимала к боку. И не от такой уж большой любви, а от того, что домра та была концертная, очень дорогая, домра стоила больших денег и *обогащала* Ирину Аркадьевну, а все остальное только *разоряло* ее, и в идеалистическом и в материалистическом понимании этого глагола.

Одолев четыре с половиной этажа, Ирина Аркадьевна запыхалась и остановилась подышать, коснувшись спиной облезлых лестничных перил. И тут же ее как электрическим токомшибануло от облезлых лестничных перил: дверь в ее квартиру была открыта, и изнутри зияла квартира плотной, жуткой, бархатной, как сажа, чернотой. И кругом была темь. На улице темь была полная, ибо фонари в два часа ночи выключают, нечего по ночам шататься, а на лестнице было такое пятнадцатисвечевое лестничное свечение, что, казалось, при таком освещении Раскольников не только мог убить старуху, а просто обязан был это сделать.

Ирина Аркадьевна, цепenea, прислушалась, и ей показалось, что в квартире что-то щелкнуло — позднее выяснилось, что это был холодильник. Ирина Аркадьевна молча застонала и, почти теряя сознание от страха, ссыпалась вниз по лестнице, причем ей еще и казалось вдобавок, что за ней кто-то бежит неслышными шагами.

— Такси, такси! — завопила она, нервно добежав до освещенного проспекта. Плюхнулась на заднее сидение и велела везти себя в 274-е отделение милиции.

— Что-то случилось? — вежливо спросил ее шофер, круглолицый, с прической „ежик“, вполне симпатичный малый — раньше бы он ей

обязательно понравился, этот „прагматический представитель нового поколения”, а теперь она лишь ответила сухо:

— Да, случилось...

И более не пожелала с ним разговаривать...

В отделении милиции №274 служили храбрые ребята. В отделении милиции №274 царил обыденная милицейская ночь: алкашей уже прятали по вытрезвителям, фарца отторговалась, магазины пока не грабили, и милицейские немного отдыхали. Кто-то что-то кому-то читал из газеты, одни в шашки играли, другие дремали, когда Ирина Аркадьевна ворвалась в помещение и, волнуясь, рассказала все, что увидела, когда пришла домой.

— Я живу одна, — теребя застежку кожаного футляра, прибавила она. — Пожалуйста, товарищ начальник, отправьте кого-нибудь со мной. Я — артистка, — сказала она.

Снова на такси тратиться не пришлось. Милиционеры оживились и с удовольствием посадили артистку в решетчатый газик. Милиционеров было двое. Они любили свою работу. Они были профессионалами.

Тихо войдя в подъезд, тихо ступая по лестнице, они сделали Ирине Аркадьевне тайный знак оставаться на площадке четвертого этажа, а сами, обнажив пистолеты, подошли к двери, напряженно вслушиваясь в темноту.

— Где свет? — чуть слышно, одними губами спросил милиционер.

— Слева, — молча показала Ирина Аркадьевна.

Бросок. Резкий жест. Свет. Коридор. Кухня. Комната. Ванная — совмещенный санузел...

Никого! Лишь балконный ветер колеблет сиреневую штору, да на кухне мирно жужжит злополучный холодильник.

— Будьте спокойны, товарищ артистка, — весело сказали милиционеры. — У вас в квартире никого нет. Живите спокойно.

— Ой, извините, я столько вам наделала хлопот, — растерялась Ирина Аркадьевна.

— Ничего. Это наша обязанность, охранять покой и честь граждан, ваш вызов мы не считаем ложным...

?????????? Ну, прямо-таки пошел сплошной реализм-натурализм. „Сержант милиции” И. Лазутина, бестселлер мешанской части населения, справедливо раскритикованный либеральной критикой времен цветения Ирины Аркадьевны, когда Ахмадулина, Вознесенский, Евтушенко и Рождественский собирали в Лужниках до ста тысяч публики...

— А вы... вы не откажетесь при исполнении обязанностей? У меня тут немного французского коньяка „Мартель”, — лукаво улыбну-

лась Ирина Аркадьевна.

Милиционеры, слегка смутившись, выпили по стакану этого крепкого напитка и закурили „Мальборо” из пачки, любезно предложенной Ириной Аркадьевной.

— Это у меня замóк такой, — жаловалась она. — Кажется, что захлопнулось, а на самом деле не захлопнулось. Ветер подул, от форточки балкон раскрылся, дверь раскрылась...

— Всякое бывает, — рассудили милиционеры и, не попрощавшись, не рассказав никаких занятных историй, громко топая, ушли вниз.

Ирина Аркадьевна закрыла дверь на ключ и наложила на щеколду цепочку. Она бросилась к заветному ящику — все, все деньги были на месте; она бросилась — она волчком вертелась по квартире в четыре часа ночи, маленькая одинокая женщина, стареющая, и все, все, все было на месте: золото, книги, пластинки, джинсы, архив покойного мужа, письма писателя...

Теперь фиксирую: именно тогда по-видимому и произошел сдвиг в сознании Ирины Аркадьевны. Она на следующий день придирчиво расспрашивала соседок. Те признались, что действительно полдня видели открытую дверь, но считали, что это хозяйка выгоняет чад — ведь не может же быть, чтобы дверь была открыта ни с того, ни с сего, ведь не сошла же с ума хозяйка, не сошла же с ума дверь?

— Это были тупые, малообразованные женщины, заскорузные от домашних хлопот, — решила Ирина Аркадьевна. „Кто-то был, пришел и ушел, кто-то был, приходил и ушел, кто-то был, приходил и ушел,” — как заклинание твердила Ирина Аркадьевна.

Осенью она выехала „по приглашению родственников в Израиль”. Мне ее жалко, но роза есть роза, бизнес есть бизнес, звенок есть звенок. Будем теперь халтурить с кем-нибудь другим. Похалтурим, поживем, поглядим на небо в алмазах, дорогой читатель! Психофизиологическое состояние — отличное! Вот такое!..

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗЗОР	7
СВОБОДНАЯ ЛЮБОВЬ	11
ПАЛИСАДНИЧЕК	14
КАК СЪЕЛИ ПЕТУХА	17
ПОРТРЕТ ТЮРЬМОРЕЗОВА Ф.Л.	23
САНИ И ЛОШАДИ	28
КАК ВСЕ ИСЧЕЗЛО НАЧИСТО	32
ТОРЖЕСТВЕННЫЕ ВСТРЕЧИ	37
ЗЕЛЕНЫЙ МАССИВ	43
СИЛА ПЕЧАТНОГО СЛОВА	53
ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА	56
ТИХОХОДНАЯ БАРКА "НАДЕЖДА"	59
РАЙСКАЯ ЖИЗНЬ И ВЕЧНОЕ БЛАЖЕНСТВО	61
ПОД МЛЕЧНЫМ ПУТЕМ ПОСРЕДИ ПЛАНЕТЫ	63
ДВА СУШЕНЫЕ ПАЛЫЦА ИЗ ПЯТИ БЫВШИХ	66
ЕДИНСТВЕННОЕ ЖЕЛАНИЕ	70
САМОЛЕТ НА КЕЛЬН	76
СТАТИСТИК И МЫ, БРАТЬЯ СЛАВЯНЕ	82
ВЕСЕЛИЕ РУСИ	87
МЫСЛЯЩИЙ ТРОСТНИК	90
СТОЛЬКО ПОКОЙНИКОВ	99
ШУЦИН – ПУЦИН	102
КОНЦЕНТРАЦИЯ	106
СЕКРЕТ И ИСТОЧНИК	109
ЗАЧЕМ БЫЛ ШАШКО?	112
ГЛАЗ БОЖИЙ	116
ВОСХОЖДЕНИЕ	122
В ТУМАНЕ	126
СЛУЧАЙ С КОРОЧЬЕВЫМ	129
СЛАДКАЯ ДУРНОТА НА ФОНЕ АВГУСТОВСКОЙ	
АНОМАЛЬНОЙ ЖАРЫ	131
ПОКОЙНИК	134
ВЕЧНАЯ ВЕСНА	139
СИРЬЯ, БОРИС, ЛАВИНИЯ	144
КТО-ТО БЫЛ, ПРИХОДИЛ И УШЕЛ	150

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ АРДИС“

- М. Булгаков, МАСТЕР И МАРГАРИТА**
В. Набоков, ОТЧАЯНИЕ
В. Набоков, ДРУГИЕ БЕРЕГА
В. Набоков, СТИХИ
В. Набоков, СОГЛЯДАТАЙ
В. Набоков, КАМЕРА ОБСКУРА
В. Набоков, МАШЕНЬКА
В. Набоков, ПОДВИГ
В. Набоков, ВЕСНА В ФИАЛЬТЕ
В. Набоков, ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧОРБА
Е. Замятин, НАВОДНЕНИЕ
А. Ахматова, ЧЕТКИ
М. Кузмин, ВОЖАТЫЙ
Б. Пильняк, ГОЛЫЙ ГОД
Б. Пильняк, КРАСНОЕ ДЕРЕВО
В. Маяковский, ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ – ТРАГЕДИЯ
А. Соболев, ЛЮБОВЬ НА АРБАТЕ
А. Платонов, ШАРМАНКА, пьеса
С. Есенин, ИЗБРАННОЕ
М. Зощенко, РАССКАЗЫ
С. Довлатов, НЕВИДИМАЯ КНИГА
В. Марамзин, ТЯНИТОЛКАЙ. ПОВЕСТИ.
С. Липкин, ВОЛЯ
Ю. Алешковский, КЕНГУРУ
Б. Вахтин, ДУБЛЕНКА
Б. Окуджава, 65 ПЕСЕН
А. Введенский, ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
Н. ЕВРЕИНОВ—ФОТО-БИОГРАФИЯ
АННА АХМАТОВА: СТИХИ, ПЕРЕПИСКА, ИКОНОГРАФИЯ
К. Вагинов, ГАРПОГОНИАДА
А. Белый, ПОЧЕМУ Я СТАЛ СИМВОЛИСТОМ
М. Цветаева, ЛЕБЕДИНЫЙ СТАН

Ardis, 2901 Heatherway, Ann Arbor, Michigan 48104

„Мне бы хотелось, чтобы читатель запомнил, затвердил у себя в памяти имя писателя, создавшего этот ключ силою своего воображения: Евгений Попов! Я уверен, что он еще даст о себе знать и более мощно, и более полно.“

ВЛАДИМИР МАКСИМОВ

„Евгений Попов принадлежит к новому поколению русской прозы. 33-летний колоритный сибиряк пишет о подлинной жизни современного русского народа со всеми ее отчетливыми мерзостями и таинственными воспарениями. Он искусный мастер, и за его плечами чувствуется не только знание народной жизни, но и близость к мировой культуре супер-реализма, к европейской классике и русскому авангарду. Уверен, что впереди у этого крепкого парня, такого русского и такого античного по своей природе, большой литературный путь.“

ВАСИЛИЙ АКСЕНОВ

Евгений ПОПОВ окончил геологический факультет Красноярского университета. Печатал рассказы в журналах „Новый мир“, „Аврора“ и некоторых других. Принял участие в альманахе „МЕТРОПОЛЬ“ (1979 год) в качестве одного из пяти редакторов-составителей, а также опубликовал там „Чертову дюжину рассказов“, которая была с одобрением отмечена почти во всех рецензиях на альманах. Настоящий сборник включает в себя рассказы, написанные за период 1963–1980 гг, и является первой опубликованной книгой многообещающего прозаика.